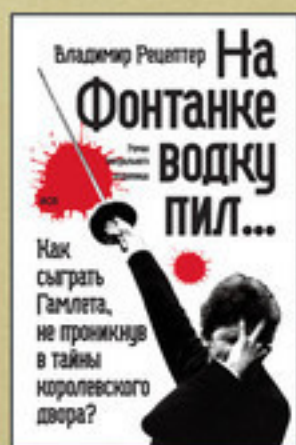


Владимир Рецептер

Жизнь и приключения артистов БДТ



*Часть сборника
На Фонтанке водку пил...
(сборник)*



Владимир Рецепттер

**Жизнь и приключения
артистов БДТ**

«АСТ»

2005

Рецептер В.

Жизнь и приключения артистов БДТ / В. Рецепттер — «АСТ»,
2005

«...В этой книге ты встретишь фотографии людей, ставших прообразами моих героев. Я не искал им других имен, заставляя мучиться догадками, кто же здесь кто? Тот, кто писал о театре и давал хорошо известным людям придуманные имена, смотрел на них скорее со стороны и, не в пример мне, нимало не двоился. Стало быть, между актерами, которых знал ты, и героями, которые вышли у меня, легко обнаружить опасное сходство... И все-таки, все же... Прошу тебя, как умницу и друга, не путать тех, что на фотографиях, с теми, кого написал я. В жизни все они, конечно, не вполне таковы, как в романе, и если не всегда, то чаще всего значительно и безупречней...»

© Рецепттер В., 2005

© АСТ, 2005

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Часть первая | 6 |
| 1 | 6 |
| 2 | 11 |
| 3 | 16 |
| 4 | 21 |
| 5 | 27 |
| 6 | 31 |
| 7 | 35 |
| 8 | 39 |
| 9 | 43 |
| 10 | 48 |
| 11 | 54 |
| 12 | 61 |
| 13 | 67 |
| 14 | 72 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 77 |

Владимир Рецептер

Жизнь и приключения артистов БДТ

(гастрольный роман)

Письмо одному читателю

Дорогой N!

В этой книге ты встретишь фотографии людей, ставших прообразами моих героев.

Я не искал им других имен, заставляя мучиться догадками, *кто же здесь кто?* Тот, кто писал о театре и давал хорошо известным людям придуманные имена, смотрел на них скорее со стороны и, не в пример мне, нимало не двоился.

Стало быть, между актерами, которых знал ты, и героями, которые вышли у меня, легко обнаружить опасное сходство...

И все-таки, все же...

Прошу тебя, как умницу и друга, *не путать тех, что на фотографиях, с теми, кого написал я.* В жизни все они, конечно, не вполне таковы, как в романе, и если не всегда, то чаще всего значительно и безупречней.

Однажды Григорий Гай, прослушав стихи о себе, на вопрос, могу ли я их печатать, ответил:

– Конечно... Ведь это уже не совсем я, а твой литературный герой...

Поставь фотографию рядом с чьим-то холстом, и ты поймешь, о чем я прошу тебя...

Понимаешь, век переменялся, и недалек час, когда... Как это у Чехова?.. *«Забудут наши лица, голоса и сколько нас было...»*

Уже сегодня мои студенты не застают на сцене многих из нас, а те, кого можно увидеть, стали совсем другими.

И если я, несмотря ни на что, пытаюсь вернуть всех своих прежними и живыми, то лишь потому, что сдуру все еще верю... Во что?.. Только не смейся... Я верю, что мои картинки на легком бумажном холсте хоть ненадолго продлят наш краткий, мотыльковый актерский век...

До встречи, дорогой N!.. Желаю тебе радости и надежды.

Твой В. Р.

Часть первая

*Разве Луна не та?
Разве ныне весна иная,
Чем в былые года?
Но где же былое? Лишь я
Вернулся все тот же, прежний.*

Аривара-но Нарихира

1

Ностальгия по Японии возникла разом у всех, как только стало известно, что вопрос о гастролях практически решен. И пока в главном кабинете обсуждалось, какие именно спектакли должны произвести наилучшее впечатление на японцев, за кулисами возникла особая атмосфера ожидания, тревог и надежд.

Разумеется, были в театре корифеи, которые знали, что поедут при всех обстоятельствах; их заботили вопросы личной подготовки. Были такие, кому поездка наверняка не маячила; в их скорбные души я боюсь заглядывать. Типовое волнение охватило «средний класс», тех, чье свидание с видом на Фудзияму зависело от самого простого: занятости в спектакле, который поедет. Таких было много, и к ним принадлежал я. На Хонсю и Хоккайдо, а тем более на Сикоку и Кюсю попасть очень хотелось.

В один из определяющих дней у доски с расписанием спектаклей я встретил артиста Михаила Данилова.

– Привет, Миша! – бодро сказал я.

– Привет, Володя! – весело откликнулся он.

Миша – один из счастливых: что-то, а уж «История лошади» не может не поехать, и сведений у Данилова больше, чем у меня.

– Ну как, учишь японский? – Это моя завистливая шутка, которую Миша должен подхватить.

– Учю, конечно. Но есть трудности...

– Какие же именно? – теперь подыгрываю я.

– Слишком много иероглифов!..

– Что делать, Миша, надо напрячься, речь идет о взаимовлиянии древнейших культур, – сочувствую я.

– А пропаганда метода Станиславского?! – развивает мысль мой славный коллега.

Данилов – интеллигент. Он влюблен в Гоголя и держит в уме целые страницы «Мертвых душ». Из горячительных напитков, завязав однажды и навсегда, пьет только крепчайшие чай и кофе. Курит не только сигареты, но и трубки и сам режет их из вишневых корней. Миша невысок, плотен и во все времена года, даже в жару, носит беспримерной прочности ботинки на толстой подошве. Важно сказать, что Данилов – отменный фотограф, и у меня создалось впечатление, возможно ошибочное, что из каждой зарубежной поездки он привозит если не фотокамеры, то объективы, фильтры, футляры, штативы, увеличители, бинокли и сотни репортажных снимков, на которых мы выглядим такими, как есть, а не такими, какими хотим казаться.

– Миша, если я спрошу, как по-японски «вишня»...

– Я от тебя не скрою, что «вишня» по-японски – «сакура»...

– А если я захочу узнать, как по-японски «капээсэс»...

– «Капээсэс» по-японски значит «вэкапэбэ».

Кроме нас, у расписания никого нет, и разговор носит свободный характер.

– Миша, в Токио у тебя будет настоящий успех!

– Разумеется, Володя. А на крайний случай у меня есть еще одна надежда...

– Какая, если не секрет?

– Это, конечно, секрет, но тебе я скажу: у нас с Гогой будет свой переводчик.

В детстве нашего Мастера, Г.А. Товстоногова, звали Гогой, и это уменьшительно-ласкательное имя сохранилось на всю жизнь для домашних и близких друзей; об этом знал не только весь город, но и весь театральный мир, и наши артисты, которые к Георгию Александровичу так никогда не обращались, в разговорах между собой пользовались тем же, будто бы сокращающим дистанцию именем.

– Вчера японец смотрел «Лошадь», – сообщает между тем Миша, – а завтра смотрит «Ревизора».

– Вот оно что, – говорю я, – к нам приехал...

– Менеджер, – заканчивает он, делая ударение на последнем слоге. – На нас он может погореть, но ему обещают цирк. А цирк, как ты понимаешь, покроет все убытки...

Теперь я набит сведениями, остается задать главный вопрос:

– А ты не знаешь, «Мещан» этот японец будет смотреть? «Мещане» – моя главная надежда.

– Нет, Володя, должен тебя огорчить, по моим данным, «Мещане» в Японию не едут...

Короткую паузу называют в театре цезурой, и помимо моего желания она возникает в нашем разговоре. Взяв себя в руки, я спрашиваю:

– Ну, а что едет еще?..

– Еще едет «Амадей», – говорит Миша, глядя на меня с искренним сочувствием. Я не сторонник «Амадея», и он это знает. На мой взгляд, это наша репертуарная ошибка. На мой ревнивый взгляд, грешно ставить историю Моцарта и Сальери в изложении модного Шеффера, когда у нас есть гениальная трагедия Пушкина. Тем более что англичанин в нее заглядывал и, по мне, ничего не понял.

– Шеффера поставит кто угодно, а таких «Мещан», как у нас, не сделает никто...

– Ну, если смотреть с этой точки зрения, – задумчиво говорит Данилов.

– А с какой же еще? – капризно перебиваю я, окончательно теряя юмор, и тогда, склоняя меня к разумной объективности, Миша говорит:

– Однако костюмы в спектакле красивые. Очень. С этим ты не можешь не согласиться.

И, выдержав еще одну цезуру, я соглашаюсь.

– Да. В этом ты прав. Костюмы выглядят красиво...

Поняв, что Страна восходящего солнца мне больше не светит, я начал соображать направление своих автономных гастролей по городам и весям нашей необъятной родины. Слава богу, такая возможность в запасе у меня была.

Переговоры с администраторами шли к успешному концу, как вдруг открылись новые обстоятельства: опять заболел Григорий Гай, в Японию его не берут, и предстоит срочный ввод в спектакль «Амадей». Времени остается мало, костюм сложен и дорог, и руководство театра ищет артиста, которому пришлось бы впору камзол и штаны широкогрудого приземистого Гая.

Нужно сказать, что для поездок за границу состав счастливых спектаклей всегда немного корректировался либо из-за так называемых невыездных, либо ради простого сокращения числа едущих. В таких случаях даже на скромные роли назначались артисты ведущего положения. И были в нашей гастрольной практике звездные эпизоды, когда на какой-нибудь революционный митинг, подобрав одежку поскромней, выходили статистами и Лебедев со Стр-

жельчиком, и Шарко с Эммой Поповой, и другие прославленные мастера, радуя и веселя своим появлением привычное народонаселение массовки...

И вот, смиренно настроившись на уральский маршрут, я вдруг узнал, что первым кандидатом на замену Гая в спектакле «Амадей» назначен именно Рецептер. Очевидно, здесь сказались прежде всего интересы дела, но нельзя было также исключить доброго отношения именно к нему, Рецептеру, так как поездка являлась бесспорным поощрением каждого участника. И не только моральным: суточные в валюте не шли ни в какое сравнение с домашним жалованьем. А тут – сорок дней в Японии!..

Однако вместо бурной радости в моей неблагодарной душе возникла смута, и на то было несколько причин.

Во-первых, с Гаем я давно и преданно дружил и в случае такой замены становился по отношению к нему невольным злодеем.

Во-вторых, я не скрывал, что к пьесе Шеффера отношусь с негативной пристрастностью, и теперь входить в спектакль «Амадей» значило поступаться чем-то глубоко принципиальным...

А в-третьих, сама ситуация казалась мне, будущему отщепенцу, просто унижительной: не роль примерялась к артисту и не артист – к роли, а фигура – к костюму!..

Всё так... Так... Но, подумав, ситуацию можно было рассмотреть и с другой точки зрения...

Разве самому Гоге не жаль заменять Гая?! Он-то с ним дружит подольше моего. Ведь это – болезнь, несчастье, злая воля судьбы, а не каприз, не произвол отношений...

И разве не существуют в театре элементарная дисциплина, производственная необходимость?

Разве Его величество Театр не выше каждого из нас?..

К тому же есть общее мнение актерской братии, согласно которому я должен не «возникать», то есть не капризничать, а выполнять свой прямой долг и благодарить судьбу и лично Георгия Александровича за удачный для меня выбор...

Существует, наконец, единственная в жизни возможность своими глазами увидеть по меньшей мере Сикоку и Кюсю.

И вот меня, отуманенного сомнениями, конвоем ведут на свидание с Гришиным костюмом. Справа – Таня Руданова, заведующая костюмерным цехом, высокая и решительная молодая женщина, прошедшая трудный путь от робкой одевальщицы до ответственного руководителя важного подразделения, а слева – Юра Аксенов, режиссер и помощник Г.А. Товстоногова, по слухам, уже назначенный главным режиссером Театра комедии и в порядке последнего поощрения у нас едущий в Японию. Оба призваны всмотреться в сочетание костюма с кандидатом на его ношение и доложить Мэтру, насколько это соединение пристойно. Мы поднимаемся по лестнице, и мое нервное напряжение растет...

А вот и костюмчик на распялке, вот и дармовой билет до Японии и обратно...

Стоит мне сейчас подобрать кисти и приподнять плечевые суставы, тем самым укоротив руки; стоит, несколько раздувшись, увеличить объем грудной клетки и изящно сгруппироваться, внедряя себя в штаны и камзол, – и вот она, древняя островная империя! Разве Токио, как и Париж, не стоит мессы?! И разве я не артист прежде всего?

Настоящий артист должен становиться крупней или меньше ростом, соответствуя выпавшей роли. Нужно только призвать на помощь всю силу воображения и войти в Гришину мерку, как в обстоятельства собственной жизни. Ну, Рецептер, давай, не стесняйся! Вот и Аксенов со своей непроходящей улыбкой подбадривает: «А что? А ничего...» И Таня Руданова клонит туда же: «Тут немного заузим, тут немного отпустим...» Конечно, они желают мне только добра!..

И вдруг помимо желания и умысла, абсолютно вопреки складывающемуся намерению мое тело и, очевидно, заключенная в нем душа бесконтрольно и пугающе неожиданно выдают неуправляемую реакцию. Артист Р. вытягивается во весь рост и воздевает вверх руки, отчего камзол взлетает до пупа, а рукава задираются до локтей, по-клоунски раскорячивает колени и в отчаянье кричит доброжелательным конвоирам:

– Да вы что, ребята? С ума посходили? Не могу же я... во всем этом выходить на сцену!.. Всё!.. Снимаю!.. Скажите Гоге, что мы честно мерили и у нас ничего не вышло!.. Таня, ты же видишь?.. Юра!.. Не улыбайся!.. И не говори, что Рецепттер не хочет!.. Скажи как есть: костюм не подходит!..

И Юра улыбается мне в ответ многозначительной улыбкой придворного. Я весь в его руках.

На другой день в костюме Гая удачно помещается артист Караваев, который и так едет в Японию в «лошадином табуне», то есть в «Истории лошади», а я получаю своего «дурака» от всех, до кого дошла история моей примерки.

Ну конечно, дурак. Дурак в своем репертуаре!.. А я и не спорю. Я сам себя ругаю дураком...

Я даже много лет играл роль дурака-правдолюбца в пьесе Л. Жуховицкого «Выпьем за Колумба!», героями которой были три друга-биолога. Роль гения играл Олег Борисов. Роль карьериста – Олег Басилашвили. А роль дурака – я. Такое было распределение. Однажды на репетиции что-то не заладилось, стали выяснять, почему, и в пылу творческого спора Басик замечает:

– Понимаете, Георгий Александрович, я называю его дураком, а он не реагирует...

Товстоногов поворачивается ко мне и говорит:

– Володя, почему вы не реагируете, когда Олег называет вас дураком? Ведь это же оскорбление!

А я отвечаю:

– Георгий Александрович! Ну какое это в России оскорбление? Это – героизация: дурак, идиот, юродивый, сумасшедший... А в нашем случае – просто текст, потому что по действию Олег меня не оскорбил.

Товстоногов поворачивается к Басилашвили и говорит ему:

– Олег! Володя прав! Вы говорите текст безо всякого оскорбления!.. Попробуйте его оскорбить!..

И вот я сам пытаюсь себя оскорбить, но действую вяло, потому что поезд ушел, то есть списки составлены, и на собеседование к старым большевикам мне в райком не надо...

И то хорошо...

Но, если признаться, на душе у меня – очень нехорошо...

Во время таких головокружительных гастролей оставшиеся дома начинают комплексовать и чувствовать себя вторым сортом. А что может быть в театре ужаснее этого?

И бессонными ночами артист Р. тайно возвращается к сцене примерки и грызет себя за неумение владеть собой.

– Кто ты такой? – задает он себе бессмертный вопрос Паниковского и свирепо отвечает: – Высокомерный, провинциальный, жалкий премьер! Костюм на тебя мал?.. Врешь!.. Не костюм, а роль для тебя мала, а ты, Гамлет несчастный, хочешь играть только главные роли!.. Бесстыжий каботинец!.. Вся ситуация глупа, а ты в ней – глупее глупого! И все потому, что тебе смерть как хочется в Японию и ты как огня боишься какой-нибудь своей внезапной подлости...

Но проходит темная ночь, и ясным днем настраиваешь себя на другой лад, и в ушах звучит другой монолог:

– Прощай, Страна восходящего солнца! Прощайте, гейши в тонких кимоно! Нам не суждено узнать друг друга!.. Я поеду в Челябинск, я повидаю Свердловск и Нижний Тагил, и неж-

ные тагильчанки будут улыбаться одному мне... Чем Урал хуже Японии?.. Пусть мне это объяснят наши патриоты!..

Вот каким изворотливым может быть сознание уязвленного артиста. Но бодрости оно не прибавляет, и к вечеру он начинает понимать, что еще не достиг пределов самоедства.

– Что Гришин костюм? – объясняет он себе самому. – Давно пора надеть должную форму и беззаветно встроить себя в систему любимого театра. Так же как театр при помощи полит-костюмеров встраивает себя в систему нашей великой страны. Разве Гоге легко снимать «Римскую комедию» Зорина и рядить сцену по «юбилейно-датской» моде? И пора честно признаться, что домашние вольнодумцы потому и позволяют себе смелые фразы и свободные жесты, что их прикрывает Гога Товстоногов, оставляя за собой тесный костюм компромисса... Компромисс – вот знамя эпохи, а значит, и твое!.. Вспомни слова потерпевших и понимающих время людей...

И я вспомнил, как однажды на галечном пляже санатория «Актер» в городе Сочи Сережа Юрский, успевший переехать в Москву, рассказал мне подробности своего разрыва и ухода, те, которые я еще не знал, и с горькой иронией опального мудреца заметил на мой счет:

– Будь всем доволен, и все будут довольны тобой... И никто тебя не обидит ни в городе, ни в театре...

Конечно, он, как Чацкий Чацкому, объяснял мне один из дьявольских законов театра, который постиг на своем мучительном опыте, а не советовал перейти в Молчалины и стать подлецом...

Но не успел я додумать до конца парадоксы неистощимой действительности, как грянула еще одна новость.

Снова мы стоим у расписания с Даниловым, и он говорит:

– Володя, по-моему, ты этого еще не знаешь...

– Миша, по-моему, я не знаю ни того, ни этого...

– Так вот, только не падай... Вместо «Амадея» в Японию едут «Мещане»! Ну, каково?..

По-моему, это – фантастика!

– Миша, скажу тебе, как Станиславский: «Не верю!»

– Честное пионерское, Володя!.. Спроси у Дины!.. – Он имеет в виду нашего легендарного завлита Д.М. Шварц. – Или подымись к Гоге, он сам тебе скажет!..

Миша от души рад и за меня, и за театр: он высоко ценит наших «Мещан».

– Понимаешь, Володя, для гастролей нам не хватает современной пьесы для пропаганды среди японцев советского образа жизни. Но поскольку Горький – великий пролетарский писатель, чье имя носит наш первый советский театр...

– Мы будем пропагандировать мещанский образ жизни... – прерываю я, а он завершает:

– Как самый наисоветский!..

– Bravo, Данилов! – искренне восклицаю я, а он повторяет свое любимое словцо: «Фантастика!..» И правда...

Такова судьба и ее вольнодумная прихоть. Такова незаслуженная награда. Я еду в Японию, еду! Не вместо кого-то, а сам по себе. Не в костюме с чужого плеча, а в своем. Я выйду на сцену Петрушей Бессеменовым в ношенной косоворотке, старых штанах и потертом студенческом кителе. Моему костюму, как и спектаклю «Мещане», чуть ли не двадцать лет!..

«Я личность!.. Личность свободна!» – брошу я новенький текст в глаза верноподданым дряхлого микадо!.. Я сорву с побежденных японцев свою толику аплодисментов!..

2

«Не говори гоп, пока не перепрыгнешь». Буквально накануне отъезда мне снова предложили натянуть пиджачок с чужого плеча. На этот раз мы проходили примерку вместе с Владиславом Стрельчиком.

Дело было так. 2 сентября в одиннадцать тридцать на Малой сцене открылось общее собрание отъезжающих. Боясь что-нибудь упустить и напортачить, а может быть, подсознательно предчувствуя рождение гастрольного романа, я решил занести в тетрадь таможенные инструкции и общие предписания.

Директор театра Геннадий Иванович Суханов, бывший оперный певец, мужчина высокого роста, валь-яжный и улыбчивый, начал с международной обстановки.

– Уважаемые товарищи, – сказал он торжественным тенором, – конечно, вы – опытный, проверенный коллектив, сознательные люди. Но никогда прежде мы не выезжали за рубеж в столь напряженной ситуации и в такую сложную страну. А большой опыт усыпляет... На этот раз нам предстоит серьезное испытание. Я не имею в виду сейсмические вещи... Хотя от вулканов тоже можно ожидать неприятностей... Дело в том, товарищи, – тут Суханов перешел на баритон, – что правящая партия Японии ведет себя не так, как хотелось бы...

По правде сказать, я не знал, чего мне хотелось от правящей партии Японии, а Геннадий Иванович дипломатично не сообщил этого впрямую, но явно дал понять, что высокая вежливость японцев не должна обмануть нашу проницательность.

На этом тревожном фоне и были даны «уточнения по еде». Мы имели право взять с собой по две палки копченой колбасы, десять банок консервов, три-пять пачек чаю, банку растворимого кофе, триста граммов икры, черной или красной, хрустящие хлебцы, а также по полтора блока сигарет и две бутылки водки. Таможня в Находке характеризовалась как очень строгая, но если наши звезды возьмут свои фотографии и сделают на них сердечные надписи в адрес тружеников проверки, то весь коллектив может надеяться на таможенную снисходительность. (Смех, возгласы одобрения, аплодисменты.) Хотя муку, крупу, хлеб и полуфабрикаты даже звездам брать с собой категорически не следует...

Читателю, не пережившему наших времен, следует объяснить, что дозволенные яства нужно было еще, что называется, достать, потому что на общедоступных прилавках всего вышеперечисленного не было. Один из моих друзей советовал развернуть историческую тему добывания продуктов, но пока, дабы не тормозить действие, я обязан вернуться на собрание.

После директора взяла слово едущая руководителем гастролей Анта Антоновна Журавлева, в сфере культуры женщина историческая и бессменная, в те поры секретарь областного (или городского?) комитета партии, а некоторые говорят, что не секретарь, а заведующая отделом или генеральный инструктор...

Здесь знатоки могут мне возразить в том смысле, что никаких генеральных инструкторов ни в обкоме, ни в горкоме не было и быть не могло, а был всего лишь один-единственный генеральный секретарь. Но если хорошенько вдуматься, эпитет «генеральный» произошел от слова «генерал», а поскольку партия у нас была одна и всем руководила («руководящая и направляющая сила эпохи»), то любой ее инструктор, выйдя за порог своего штаба, тотчас начинал чувствовать свою избранную роль и генеральское положение. А все остальные, то есть те, кто не имел счастья служить в обкомгоркомрайкоме, по отношению к каждому инструктору понимали себя значительно ниже рангом или вообще маялись своей неполноценностью, как штатские по отношению к военным. Что уж говорить о заведующих отделами, третьих, вторых, а тем более первых секретарях, которые смотрелись просто генералиссимусами. Недаром же Анту Журавлеву назначили руководителем японских гастролей, поставив ее не только над

Геннадием Сухановым, но и над самим Георгием Товстоноговым. И, кстати сказать, именно Анта выгодно отличалась от других подобного рода руководителей.

– Товарищи, – твердо сказала она, – паспорт нужно всегда иметь при себе. Беспаспортных забирает полиция. Одна балерина забыла паспорт, и ей пришлось танцевать в полиции, чтобы доказать, кто она такая... В гостиницах большой порядок и чистота, поэтому консервные банки не нужно швырять в свой мусоропровод, их следует заворачивать в бумагу, выносить из гостиницы и складывать в урны, чем дальше, тем лучше... Теперь... В номерах дают кимоно и тапочки; не увозите их с собой, как это сделал один наш известный артист... И самое главное, товарищи, скажем честно, в магазинах разбегаются глаза. Пожалуйста, не переходите из отдела в отдел с неоплаченными товарами и сохраняйте все чеки до выхода на улицу... Ну вот, как будто всё... Ах да!.. Чуть не забыла!.. Владислава Игнатьевича Стржельчика и Владимира Эммануиловича Рецепттера после собрания просил заехать в отдел культуры обкома (или горкома?..) товарищ Барабанщиков...

«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» – подумал я, и во мне шевельнулось тоскливое подозрение, что после визита к товарищу Барабанщикову мои консервные банки могут не достичь японской урны. Стржельчик тоже недоумевал.

– Ничего особенного, – успокоила нас на ходу Анта Антоновна, – не волнуйтесь, это по поводу какого-то комитета...

Однако я стал лихорадочно вычислять, о каком именно комитете может идти речь у товарища Барабанщикова и при чем тут я и Слава. Когда мы сели в машину Стржельчика и выехали с театрального двора, я сказал:

– Слава, у меня такое предчувствие, что нам хотят присвоить звание членов антисоциалистского комитета.

Он пристально взглянул на меня и нервно спросил:

– Ты думаешь?

Я сказал:

– Ну а какой там еще может быть комитет?.. Не безопасности же?..

Некоторое время мы ехали молча. Потом я спросил:

– Слава, клянусь, я никому тебя не выдам, ты – еврей?..

Стржельчик скрипнул тормозами и сказал:

– Я – поляк... Это тот комитет, в котором Райкин?

– И Быстрицкая... Но если ты не еврей, чего они хотят от тебя?..

Стржельчик ехал на красный свет и молчал.

В задачу изобретенного в Москве комитета входила пропагандистская борьба с международным сионизмом и происками израильской военщины. Его президиум выглядел по телевизору довольно картинно, и в устраиваемых комитетом спектаклях принимали участие многие еврейские орденосцы и знаменитости. Таинственно было одно: при чем здесь Стржельчик?..

На Суворовском проспекте я высказал еще одну догадку:

– Знаешь, по-моему, они надеются на тебя как на молодого члена партии.

Недавно первый секретарь обкома Романов лично вовлек Стржельчика в партию коммунистов, дав ему свою высокую рекомендацию. Я берег свою беспартийность, неуклюже хитря и уклоняясь от предложений, как девственница.

– Это – хулиганство! – убежденно сказал Стриж, когда мы вышли из машины, и, крепко хлопнув дверцей, добавил: – Хрен им!

Теперь мы были готовы к встрече на высоком уровне.

На нашу удачу, товарищ Барабанщиков, имя и отчество которого я по дороге учил наизусть, но с тех пор безнадежно забыл, совершил тактическую промашку, решив обсудить вопрос не с каждым в отдельности, а открыто и вместе: чего там, все свои!.. А вместе нам было все-таки легче: нас – двое, а он – один.

Моя трусливая догадка нашла свое подтверждение:

– В Москве есть такой комитет, а у нас еще нету, – сказал товарищ Барабанщиков с ласковой улыбкой, – это непорядок. Чем Ленинград хуже Москвы? – задал он риторический вопрос и, не дожидаясь ответа, продолжил: – Вот мы и хотим предложить вам, Владислав Игнатьевич, как известному артисту и вам, Владимир Эммануилович, как артисту и писателю войти в это дело...

«Надо же! – оценил я. – Продумано!.. С одной стороны, дельце – дрянь, а с другой – накануне выезда в Японию... Скромная такая доплата за проезд! Или дополнительная страховочка...» На минуту мне показалось, что сейчас товарищ Барабанщиков достанет из стенового шкафа парочку форменных кителей и станет вежливо подавать нам для примерки. Впрочем, форма одежды членов ленинградской фракции могла быть и гражданской: фрак, смокинг, интеллигентная тройка, спортивный пиджак, украинская рубашка с вышивкой, косоворотка, подпоясанная шнурком... Так сказать, с учетом художественной индивидуальности. Главное, чтобы мы согласились войти в это дело.

– Нет, – твердо сказал Стрельчик. – Мою жену не берут в Японию, и я отказываюсь.

Позавидовав безупречной логике Славиного аргумента и не давая товарищу Барабанщикову опомниться, я стал горячо убеждать:

– Понимаете, Имя-Отчество, я тоже не могу... Кроме театра, который, конечно, прежде всего, у меня очень много других обязательств: Союз писателей, Пушкинская студия, секция чтецов, общество «Знание»... Вы сами посудите, Имя-Отчество, ведь это все требует времени!.. И вызывает какое-то недовольство в коллективе: слишком много посторонних забот... Нельзя же брать на себя так много!.. Пожалуйста, поймите меня правильно...

Товарищ Барабанщиков так и понял...

О Господи!.. Что это было?..

Я говорил чистую правду и в то же время врал, беспардонно, чудовищно врал, преодолевая рвотное чувство...

И Слава, которого тоже тошнило от этой вербовки, тоже врал, приводя свои семейственные мотивы...

И товарищ Барабанщиков врал, говоря, что понимает наши сомнения и все же просит подумать еще... Ну, подумать всегда не вредно, так же как и хотеть... «Хотеть не вредно», – говорила ухажеру одна девушка, смягчая свой отказ...

Конечно, по оценкам отважных времен, мы вели себя не бог весть как круто. Но тогда, когда это случилось, некоторые последствия могли и наступить. Ну, например, по срочному докладу товарища Барабанщикова нас как неблагонадежных могли тормознуть и у самолетного трапа. Если и не обоих, то хоть одного. Балетные прецеденты бывали: после бегства Рудольфа Нуриева, а тем более Миши Барышникова, обжегшись на молоке, «выпускающие» дули на воду...

Испытание сблизило нас, и, взглянув на часы, Слава сказал:

– Время обеда... Зайдем, посмотрим, чем питается белая кость...

– Белая? – переспросил я, а он вместо ответа выразительно посмотрел мне в глаза...

Питались они недурно: и осетрина, и икра в обкомовской столовке шли по смешным ценам. Женщины на раздаче и подкрепляющиеся партийцы гостеприимно улыбались нам...

Домой ехали молча...

Я долго не мог взять в толк, по какой же логике это приглашение подфартило Стрельчику? И лишь через много лет меня осенила простодушная мысль, что поводом для включения в список антисионистов могла послужить роль старого еврея Соломона, которого Слава так прекрасно сыграл в пьесе Артура Миллера «Цена». Конечно! Он говорил с сипотцой и характерным напевным акцентом, дрожащими руками надбивал и чистил куриное яичко, доставал ложечку и долго кушал его, а потом сладострастно торговался о цене никому не нужной мебели.

Перевоплотившись так органически и проникновенно, Стржельчик, очевидно, стал ассоциироваться у наших идеологов с типичными представителями древнего народа. Вероятно, он должен был войти в состав бойцового комитета как глубокий знаток еврейского характера и национальной психологии.

Наверное, тут была проявлена даже некая тонкость: с одной стороны – знаток, а с другой – поляк. А польские коммунисты к этому времени решили вопрос почти радикально: взяли и всех своих евреев выслали из страны. Следовательно, товарищ Стржельчик, с точки зрения товарища Барабанщикова, на роль борца с сионизмом подходил как нельзя лучше. А он возьми и откажись!.. Не ожидали...

А однажды коренной москвич, обладающий трезвым умом, пояснил мне еще одну причину.

– Если бы Стржельчик был русским, – сказал он, – его бы не беспокоили... А что такое поляки с точки зрения правящей партии?.. Такой же сомнительный народец, как цыгане и евреи... Российская империя их давила... Сталин с Гитлером их приговорили... Они себя выдали, понимаешь?.. Ты, мол, для нас все равно что еврей!.. Поэтому Стржельчик и напрягся... Ты вспомни, сколько поляков расстреляли в Катыни...

Я вспомнил... Но самым противным на сегодняшний день показалось то, что от нас не ожидали отказа...

Чего они вообще ждали от нас? Сами-то понимали, чего ждут, или просто так зарплату оправдывали?.. Или их вообще нельзя отделять от нас, а нас – от них, потому что мы составляли единое целое?..

А чего ожидали мы? И от кого, главное?.. Бога у нас еще не было, фортуна казалась членом партии, а зарубежные гастроли – признаком избранничества... Ну чего я, темный, ждал от Японии? Экзотики или глотка «другой жизни»? Разве мы не потащили с собой свои робкие привычки и вялые надежды? Разве послушно не разбились на четверки для удобства подробного надзирательства за каждым из нас?..

Юрий Алексеевич (или Александрович) представлял КГБ и на нашем собрании держался скромно. Обаятельно улыбаясь, он честно признался, что театрального образования не получал, в Японии ни разу не был, но в трудных случаях может выручить и спичечный коробок с адресом отеля. Вообще же Япония – высокоорганизованная страна, и мы постараемся соответствовать ей своей высокой организацией. А вместе нам нечего бояться, так как нас «будут охранять».

– Ого! – сказал на это Иван Матвеевич Пальму и радостно оглянулся на остальных.

– С вами могут искать контакта лица негативные, – продолжил новоявленный руководитель БДТ, уверенный, что мы одинаково понимаем значение слова «негатив», – так вот, контакты с ними не возбраняются, единственное, о чем я вас попрошу, – поставить нас в известность... Единственное...

Юрий Александрович (или Алексеевич) живо напомнил мне университетскую практику в газете туркестанского военного округа «Фрунзевец» и то, как радушно встречал меня заведующий отделом пропаганды полковник Борщиков. Был он, очевидно, родом с Украины, но долго служил в Сибири, и это хорошо отражала его дивная речь.

– Ну, Володя, – говорил он, вкусно окая, какая и подбирая выразительные предлоги и ударения, – мы рады, шо ты прышел к нам на практику... Ну шо тебе сказать?.. Мы тебе, как представителю нашей мблodeжи, дадим полную свободу творчества... Понимаешь?.. Так... Ну, какую тебе, Володя, поставить задачу? – спрашивал полковник и сам же радостно отвечал: – Ага!.. Сходи, пажалуста, у кино, Володя... Идет у наших кинотеатрах такая картина под названием «“Бахатырь” идет у Марто». Посмотри, пажалуста, эту картину. И напиши рыцензию...

Буквально шо только захочешь, то и пиши... Хочешь, пиши двести строк, а хочешь – триста строк пиши. Сколько хочешь, столько и пиши. Вот только есть у меня одна маленькая просьбица. Ты все-таки так напиши, дорогой Володя, чтобы наших солдат... Сержантоу... Офицероу... И генералоу... Да, и генералоу... воспитать в духе ненависти к американьскому империализму...

Я написал.

– Ну, Володя, – сказал полковник Борщиков, – хорошую рыцензию ты написал на картину «“Бахатырь” идет у Марто»... Мы тебе ганарар выпишем приличный и поместим рыцензию на доску лучших материалов номера... Маладец!.. Ну, и шо тебе еще сказать?.. Ага!.. Вот... Вышла у нас такая книга корреспондента «Правды» Даниила Краминоуа под названием, если не ошибаюсь, «Многоэтажная Америка». Так ты возьми, Володя, в библиотеке эту книгу или купи ее у магазине, прочитай внимательно и напиши на нее рыцензию... Шо хочешь, Володя, то и напиши... Мы тебе подвал дадим... Пиши подвал... А хочешь два подвала – тоже пиши... Причем абсолютно шо хочешь... Полная тебе свобода, Володя... Только одна к тебе маленькая просьбица...

Вот так и у товарища Чекистова была к нам «одна маленькая просьбица» – ставить его в известность...

И все-таки, все-таки... Мы ожидали японского чуда и балдели на чистых палубах советского судна «Хабаровск», идя через пролив Цугару, минуя остров Симокита, встречая рассвет на Тихом океане. О, какой кайф мы ловили на белом пароходе, ослепленные редкостной удачей и волшебной солнечной погодой!.. Плыли мы почти трое суток.

3

Прежде чем продолжить описание японских событий, автор должен честно признаться в том, что память его за истекшие годы изрядно прохудилась и он готов принять любые упреки от других участников поездки. Конечно, он беспредельно субъективен и безнадежно ограничен, но, видит Бог, он старался. Чтобы восстановить эпическую картину гастролей, он все же наводил справки, сверяясь со своим бестолковым дневником и разумными разъяснениями памятливых коллег. Телефонный звонок или случайный рассказ при встрече вносили в историю известные поправки, но у каждого участника – свой сквозной сюжет, свои особицы и детали, и автор был бы рад, если просьбы его оказались бы услышанными и те, кого он к этому склонял, сами записали свои бесценные байки. Но одни – дай им Бог удачи! – слишком поглощены актерской работой, других он, нерадивый, потерял из виду, а третьи уже просто не в силах этого сделать...

Поэтому автору не остается ничего другого, как поспешить со своим отчетом, прежде чем полное беспамятство не поставило и ему непреодолимой преграды...

Сделав это повинное отступление, автор позволит себе пойти дальше, а точнее, вернуться назад и, следуя умному совету, коснуться темы наших сборов...

Не торопись, не торопись, читатель!..

Чтобы успеть до скорого отъезда наполнить гастрольные чемоданы, мы были вынуждены прибегнуть к возможному благу и, проявляя изворотливость и смекалку, попытаться обменять на дефицитные продукты дефицитные билеты, а для того чтобы получить билеты, следовало идти к заместителям директора, администраторам, заведующей билетным столом с символическим именем Надежда Алексеевна или к нашим дорогим кассиршам Ольге и Людочке...

Так, настоящий индийский чай «со слоником» и отечественный растворимый кофе я надеялся спроворить в знаменитом магазине «Чай-кофе», что на Невском проспекте рядом с Московским вокзалом, и, как спортсмен, настраивал себя на то, чтобы с разбегу преодолеть прилавочный барьер, нахально пройти в подсобку, подняться на второй этаж и постучать в дверь к директору магазина Любови Михайловне, средних лет красавице-брюнетке, с которой меня познакомил великий чаевник и кофеист Павел Петрович Панков. А поскольку покойный Павел Петрович, редкий книголюб и собиратель русской сатирической литературы начала века, представил меня Любови Михайловне не только актером, но и литератором, то, заходя к обаятельной директрисе, я должен был выдержать короткий, но содержательный разговор на литературные темы и, благодаря ее за чайное сочувствие и кофейную поддержку, пригласить на свой концерт или новый спектакль или с искренней приязнью и лучшими пожеланиями надписать ей стихотворный сборник...

Милейшая Любовь Михайловна давала распоряжение заместителю, тот отправлялся готовить пакет, а я спускался в торговый зал, чтобы оплатить покупку через кассу...

Замаскировав пахучую добычу в портфеле, я, по просьбе Любови Михайловны, черным служебным ходом выходил в соседний двор и как ни в чем не бывало шел по Невскому проспекту, переполненный чувством достигнутого равенства с верхними эшелонами власти...

Назвав по имени Павла Петровича, нельзя не сказать хотя бы несколько слов о том, кого мы для японского путешествия безвозвратно потеряли и кто украшал собой гастрольные кочевья в прежние годы. Собственную смерть Панков предрек, ссылаясь на то, что и дед его, и отец умерли пятидесяти шести лет от роду, и он, мол, так...

Странствовали ли по Союзу или за рубежом – везде он жил, как у себя, несуетно и благородно, раз и навсегда установив регламент гостиничного соседства и редко балуя местных зрителей демонстрацией своей импозантной фигуры вне сцены. И то сказать, выносить на

улицу сто двадцать килограммов живого веса и таскать их по чужому городу – себе дороже. Уж лучше пить чай в номерах. После спектакля – играл он сегодня или нет, – вокруг Панкова собирался некий творческий клуб, в который входили радист и теоретик театрального искусства Рюрик Кружнов, артист и гоголевед Миша Данилов, а также те из актерского цеха или обслуги, которые понимали толк в обрядовом русском разговорном времяпрепровождении. Дверь номера была не заперта, но компания составлялась избранная: демократически настроенная интеллигенция, помнящая дворянское прошлое нашей культуры.

Неспешное и острословное обсуждение событий шло у Панкова до четырех-пяти утра в возвышенной ароматической атмосфере хороших чаев, вкусного кофий и дорогих сигарет, на которые Павел Петрович не жалел и валютных затрат. Стоит ли говорить, что Венценосным Председателем, Светящимся Маяком, воплощенным Обломовым, живым Джексоном и воскресшим Йориком был именно он.

Ни о каком алкоголе здесь и речи быть не могло, так как хозяин решительно бросил молодые привычки, загубившие не один самородный талант, и одним этим служил для нас высочайшим примером.

Расходясь почти на заре, участники посиделок знали, что теперь к Павлу Петровичу до двух, а то и до трех часов пополудни лучше не ломиться, да и позднее дать ему время на медленное просыпанье и плавное приведение огромного, рыхлого и талантливого тела в рабочее состояние.

Пик формы с Божьей помощью наступал у Панкова к началу вечернего спектакля, а в антракте вновь поспевал чифирный чаек или свежесваренный кофий, что было следствием доброхотного опекуинства, которое взяла над Павлом Петровичем костюмер и мажордом его клуба Татьяна Руданова...

Труднее приходилось, когда ему выпадали утренники и ранние репетиции, но эту предубежденность Панкова знал и даже отчасти принимал в расчет при составлении расписания завтруппой БДТ Валерьян Иванович Михайлов.

Та же Таня Руданова выполняла и покупные гастрольные поручения Панкова и помимо носильных вещиц для жены и двух сыновей или какого-нибудь баловства для огромного, как хозяин, ньюфаундленда по имени Устин доставляла в номер до сотни разнокалиберных сувениров, потому что артист П. душой понимал ревнивые скорби оставшихся. Но даже для блага семьи или утешения скорбящих Павел Петрович никогда не унижал себя походами по тряпичным делам. В табачную или кофейную лавку заглянуть мог, особенно если она обнаруживалась неподалеку от гостиницы, а в какие-нибудь универмаги-пассажи – Боже сохрани!..

Да и экскурсий по достопримечательным местам Европы или знаменитым музеям наш герой не жаловал; вы, мол, посмотрите и мне расскажете вечером...

Во время «Мещан» за кулисами Павел Петрович, словно готовя Р. к близкому расставанию, несколько раз предупреждал, что его, Панкова, смерть не за горами, и не давал спорить по этому жестокому поводу.

– Нет, нет, Володя, теперь скоро, – говорил он.

То ли знал, то ли напоролил...

И на роль Тетерева, которая была для Панкова и дебютом, и триумфом на сцене БДТ, вынужденно ввелся Слава Стрельчик...

Что же касается артиста Михаила Данилова, то уж он-то Павла Петровича просто боготворил и сделал для себя примером подражания, а после его кончины продолжил в гастролях панковские традиции: интеллигентные беседы, остроумные пикировки, кофий на спиртовой горелочке, сигаретный дымок, чайная церемония...

С твердокопченной колбасой, лососем и печенью трески дело обстояло сложнее, но и тут имелись налаженные маршруты. В зрительском буфете можно было войти в легкий сговор со

старшинами закуской службы и, пообещав на ухо известному лишку, создать для поездки скромные запасы.

Те же, кто имел право считать себя окружением Данилова, могли рассчитывать на продуктовую экскурсию в Елисейский магазин, где сменным администратором трудилась его добрая мама. Готовя творческую высадку на остров Хонсю, предстал однажды пред ее очи и я, чревоугодный... Хотя и не помню, чтобы Р. покупал себе икру: именно икре дружно сопротивлялись недодушенный стыд и недостаток финансовой мощности.

Возможно, у других, более именитых, были лучшие источники, чем те, о которых знал я, но здесь важно понять, что независимо от чина и звания никто не мог считать себя свободным от кормовых и курительных забот. И даже те, кто не имел никакого блага и не склонял гордой головы перед прилавком, рискуя желудками, брали с собой все, что доступно, например вечную утеху потребляющей водку души – пряную килечку...

Впрочем, вру. Было в нашей команде и героическое исключение. Лариса Малеванная, для которой японская гастроль оказалась первой загранкой с Большим драматическим, наслушавшись напутственных инструкций, перестраховалась и не взяла в дорогу вообще никакой еды. Встретив ее в коридоре японского отеля, Юра Демич переспросил:

– Ты что, действительно ничего с собой не взяла?

– Ничего, – простодушно призналась Лара.

– Ну и дура, – обиженно сказал Демич, подтверждая мой тезис о том, что «дурак» в русском лексиконе стоит гораздо ближе к уважительному возвеличению, нежели к банальной ругачке. И добавил: – Пошли, я тебе десять супов дам...

И вручил ей десять незабываемых куриных пакетов.

Поддержала Лару и Ирина Ефремова, захватившая с собой здоровенный шмат украинского сала, много сгущенки и контрабандный сыр на первое время. Сыра можно было взять лишь немного не только потому, что он не входил в список, но и оттого, что не всякий гастролер мог рассчитывать на холодильник...

Конвертируемым, то есть упакованным в пухлые конверты гороховым, куриным и прочим супам Миша Данилов присвоил изящное наименование «суп-письмо» и сам смастерил суповой кипятыльник...

И тут, отвлекая от пищевой охоты, просят на волю устные рассказы о кипячении и кипятыльниках и правило, которое затвердил любой гастролер: без собственного прибора за границей делать нечего...

В отличие от домашнего гастрольный кипятыльник должен был иметь разрешающую способность греть воду от тока напряжением в сто двадцать чужих, а не двести двадцать наших вольт и хитрую кустарную вилку, преодолевающую сопротивление девственно строгих щелевых иностранных розеток, которые вечно прятались в самых недоступных углах номера...

Инженер по электронике Толя Левант, женатый на концертмейстере театра Розе Осининой, умел делать изящные приборчики даже из бритвенных лезвий, и это были настоящие шедевры прикладного искусства...

Сразу после расселения в Токио у нас вышел известный конфуз, когда, оказавшись наконец в своих номерах, все решили подкрепиться с дороги и дружно врубили свои нагреватели. Эффект был мгновенный и ослепительный: в гостинице вылетели все пробки, и она погрузилась во тьму...

Как выяснилось позже, эксклюзивным правом на «эффект гастрольного затемнения» мы не обладали: аналогичные эпизоды сохранились в эмоциональной памяти коллективов Большого и Кировского театров, выездных хореографических ансамблей Игоря Моисеева и «Березка», а также прославленных симфонических оркестров Советского Союза и Ленинградской филармонии...

Здесь же, возникнув как черт из табакерки, требует себе места история ухи, затеянной Григорием Гаем...

Будучи человеком обстоятельным, Гриша не надеялся на типовой результат, который сулила консервная банка тресковой ухи, и не поленился сходить на местный базар, чтобы прикупить молодой картошки, укропа, лаврового листа и других необходимых приправ. Вернувшись в гостиницу и осознав, что лишен необходимой кастрюли, Гай достал щетку и мыло и тщательно вымыл номерной умывальник. Оставалось аккуратно заткнуть его пробкой на железной цепочке, набрать воды и опустить в новорожденный «котел» свой нагревательный прибор...

Напарником Гая в поездке был Владимир Татосов, который имел на утро другие планы и не знал о кулинарной затее Григория. Вернувшись и приближаясь к своему номеру, Володя стал ощущать беспрецедентные запахи большой рыбной кухни. Тревожась все больше и больше, он понял, что источником букета является именно их с Гришей дортуар, который оказался запертым изнутри. Володя постучал.

– Да-да, – глухо донеслось из-за двери.

– Гриша, это я, – сказал Володя.

Таинственным детективным басом Гриша спросил:

– Ты один?

– Один... А что?.. Что случилось?..

Гриша приоткрыл дверь и велел:

– Заходи! Быстро! – И снова тщательно запер замок. – Ну, Володя, – тоном заговорщика пообещал кулинар, – сейчас мы с тобой будем есть такую уху... Пальчики оближешь!.. Ты такой ухи никогда не ел!.. Чувствуешь, какой запах?..

– Чувствую, – сказал Володя. – Давай откроем окно.

– Ты что?! – сказал Гриша. – Хочешь, чтобы к нам применили санкции?!

К моменту, когда уха показалась Грише готовой, в номер постучал встревоженный сногшибательным запахом сосед. По одним данным, это был Олег Басилашвили, по другим – Женя Горюнов, но некоторые с уверенностью называют Виталия Иллича...

Расходятся также показания о городе, где происходила сцена, и рыбе, из которой творилась историческая уха. У одних в памяти празднующая сорокалетие Советского Казахстана Алма-Ата и жирный озерный толстолобик, у других – столица Финляндии Хельсинки и та же консерва, однако не из трески, а из окуня.

И здесь важно отметить множественность путей, по которым движется единичный факт, обрастая вариантами и превращаясь в настоящий апокриф. Если Татосов вспоминает о рыбных ароматах с оттенком не вполне позитивным, другие актеры пытаются передать нежный и аппетитный запах, дразнящий уставших от сухомятки артистов. Для завершения сюжета я, пожалуй, воспользуюсь второй версией: уха на славу удалась и гостю предоставили право снять пробу.

Предвкушая удовольствие, новобранец взял из рук Гая ложку и, зачерпнув ею из огнедышащего чрева ухи, понес ко рту. Но оказалось, что вместе с рыбным наваром и лавровым листом он поддел железную цепочку, та выдернула со дна умывальника пробку, и с драматическим бульканьем дивная уха унеслась в преисподнюю... Предоставим читателю право в качестве домашнего задания самому вообразить и описать реакцию участников сцены и жуткие натуралистические подробности избавления от последствий...

В отличие от беспечного Гая Миша Волков обявывал реквизиторский цех тайно перевозить с собой непременно кастрюлю, электроплитку, крупу и картошку, потому что, не отступая от общих правил, железно соблюдал сепаратную диету...

Я же, никчемный сластолюбец, норовил прихватить с собой конфеты, шоколад-мармелад и фирменный круглый ленинградский пряник на меду в картонной коричневой коробке...

Но довольно, довольно!.. Автор должен ограничить себя в подробностях, иначе рискует безнадежно застрять в гастрономическом отделе. А нам пора выезжать...

4

Дорога наша была не из легких и могла сравниться только с дорогой в Буэнос-Айрес с пересадками, ночевками, экскурсиями и таборными сидениями просто так...

Почему путешествие так смело берет на себя роль сюжета?

Может быть, потому, что всякое действие и движение, сменившее неподвижность, естественно и властно притягивает взгляд?.. Любой предмет, смещаясь в пространстве, заставляет следить за собой, а неизвестный предмет – тем более... То же самое можно сказать и о предмете известном, ибо перемена места способна придать ему новый облик, а непривычное пространство заражает охотой скольжения по временам...

Одно дело – Большой драматический дома, на Фонтанке, 65, и совсем другое – на дальних гастрольях. Скажем, я давно знаю Владислава Стрельчика, но вот он едет на Японские острова, причем с единственной ролью, к тому же и вводом, едет вместо умершего Панкова, да еще без любимой и неразлучной жены Люды Шуваловой, сперва актрисы, а теперь режиссера-ассистента. Он поставлен в необычные обстоятельства дороги, ночного одиночества и хотя временного, однако же неравенства на гастрольной сцене...

Разве герой не привлечет к себе наше повышенное и сочувственное внимание?

И все мы таковы – те же и немного не те, что обычно, и узнаем о себе что-то новое, не то чтобы именно «японское», однако и не вполне «фонтанное».

Беда лишь в том, что при всей любви к Славе, Грише или Гоге автор не сможет сказать о них столько, сколько о себе, и лишь на своем нелепом примере в силах оказаться подробней и достоверней, чем на других, если, конечно, у него хватит отваги, а у читателя – терпения...

Как я сказал, дорога была не из легких: почти восемь часов на ИЛ-62 до Хабаровска; день – в городе, а ночь – в поезде до Находки с вагоном-рестораном и всеобщей бесшабашной тратой ненужных в Японии рублей...

Сева Кузнецов, начинавший актерскую карьеру на Дальнем Востоке, чокался со всеми то ресторанной рюмкой, то граненым стаканом от проводника и на разные лады повторял ностальгическую фразу:

– Еду по своей юности, ребята!..

Получалось, что все мы как бы у него в гостях.

Гриша Гай тоже смолоду служил на Дальнем Востоке, но с нами не ехал, а лежал в больнице и сочинял письмо Товстоногову о том, что чувствует себя вполне здоровым, ждет от него новых ролей и готов на любые условия, лишь бы работать... Лишь бы оставаться в театре...

В первый день моей новой службы здоровый и красивый Гай подошел ко мне в фойе, улыбнулся и подал руку:

– Очень рад, что вы теперь с нами, – сказал он. – Хотите, попрошу, чтобы вам дали место в нашей примерке?..

Мне показалось, что я давно знаю это широкоскулое мужественное лицо.

– Спасибо, хочу, – сказал я, а позже услышал, что так же открыто и дружелюбно он подошел к Володе Татосову, когда тот появился в «Ленкоме».

В Грише сочетались редкая начитанность, живой ум и широта интересов. Вечно он писал какой-то телесценарий, ну, скажем, о Владимире Галактионовиче Короленко, или страстно учил польский язык, или читал в закрытой библиотеке том Гудериана; вечно таскал с собой огромный набитый портфель, который вызывал насмешки недоброжелателей: зачем актеру портфель? Но Гриша не обращал на это внимания.

Впрочем, его портфель и для меня был вечной загадкой, потому что кроме книг и сценариев в нем могла оказаться и добрая выпивка, и свежая базарная закуска, и штопор, и столовый прибор в салфетке, а иной раз чистая простыня и большое полотенце из прачечной, если Грише предстояло тайное свидание на квартире нашего общего друга артиста Бориса Лёскина...

Может быть, из-за портфеля и любви к непредсказуемым книгам он и получил в «Амадее» роль императорского библиотекаря Ван-Свитена, который Моцарта сперва защищал, а потом предал. В невеликую роль Гриша вкладывал свои размышления об искусстве и жизни, и, думаю, драматическое содержание заботило его больше, чем красота придворного костюма.

Еще во время репетиций, когда Товстоногов стал сокращать пьесу Шеффера и роль Ван-Свитена в особенности, Гриша страшно расстроился, боясь, что теперь не сумеет выразить современный смысл интеллектуального предательства и борьбу зла и добра внутри своего героя. По этому поводу он даже ходил к Гоге, но успеха не добился. И хотя Гриша старался ничем себя не выдать, следы настоящих страданий остались в его переписке с давним другом Ольгой Дзюбинской...

А когда, пройдя через все испытания, он все-таки сыграл своего библиотекаря и выразил то, что хотел, а спектакль стал кандидатом на поездку в Страну восходящего солнца, Гай оказался в больнице и окончательно пал духом.

А ведь он учил нас другому. Писатель Билл Гортон все твердил гудящим голосом Гриши: – Не падай духом. Никогда не падай духом. Секрет моего успеха. Никогда не падаю духом. Никогда не падаю духом на людях...

Телеспектакль по роману Хемингуэя поставил Сережа Юрский, и он имел у зрителя настоящий успех. Сначала мы репетировали «Фиесту» в театре и даже показали прогон Гоге, но Гога работы не принял, и тогда Сереже пришлось искать реванш на телевидении...

Роль Билла Гортона на редкость совпадала с главными свойствами Гриши: быть честным, стойким и никогда не падать духом. И до последнего времени это Грише удавалось. Несмотря ни на что...

Даже в те черные времена, когда многие падали духом, потому что партия громила космополитов. И Центральный театр Советской армии, в котором работал Гриша, громил безродных космополитов. И сводный хор погромщиков из всех творческих сил дружно мочил собственного космополита.

Тогда на общем собрании раздался одинокий голос Гая, который сказал:

– Это – несправедливо. И это – неправда. Наш завлит Борщаговский вовсе не портит советские пьесы. А часто даже спасает. Наш завлит бескорыстно спасает плохие пьесы бездарных драматургов!

И привел примеры...

Тут-то все и случилось. Тут-то все собрание развернулось против Гриши, и его с Борщаговским как безродных космополитов исключили из партии и прогнали из театра...

К сведению тех, кто уже и еще не знает.

Космополиты по тем временам значило – евреи; их-то тогда и громили. И некоторых – до смерти.

В конце 40-х – начале 50-х годов прошлого века, когда Гришу Гая изгнали из военного театра, космополитов громила вся страна во главе с обкомгоркомрайкомами и Центркомом. Громила громко и открыто.

А в начале 80-х, когда Гай служил в Большом драматическом, а нас со Стрельчиком вызывал товарищ Барабанщиков, партия в соответствии с духом нового времени поступила гораздо хитрее и создала как бы общественный комитет по борьбе якобы с сионизмом, заставив советских евреев самих себя громить. И не громко, а под сурдинку. В этом и заключались

партийная хитрость и творческое развитие сталинской национальной политики в новых международных условиях.

Так вот, даже и тогда, когда его выгнали из центрального армейского театра, Гриша не пал духом, а, походив по Москве безработным и убедившись, что другие театры его принимать боятся, собрался ехать на самый Дальний Восток...

И надо же так случиться, что тут на улице Горького ему встретился Борщаговский, а мимо как раз проходил Товстоногов. И космополит Борщаговский познакомил космополита Гая с режиссером проверенной ориентации Товстоноговым, который спешил на вокзал.

А Гога знал, что случилось с Гришей, знал, что Гриша в опале. Но он не побоялся поступить как захотелось и, повинуясь порыву души, сказал опальному Грише:

– Я еду в Ленинград принимать молодежный театр. Хотите со мной?

– Хочу, – сказал Гай, и они подружились.

Такова правдивая легенда и легендарная правда. Возможно, в моем пересказе есть и неточности. Может быть, Гого с Гришей познакомил не Борщаговский, а кто-то другой. И, может быть, молодой Мастер направлялся еще не на вокзал, а в другое место. Более того, у автора есть разноречивая информация о том, что Товстоногов и Гай познакомились то ли в Тифлисе, то ли в Москве, однако еще до войны. Но он просил бы уважаемого товарища Борщаговского и других знающих товарищей не вносить разрушительных уточнений.

Потому что ему кажется, что так лучше...

Приехав в Ленинград, Гога и Гриша начали с общаги «Ленкома», и радость совместного восхождения заполнила их краткие сутки и круглые сезоны. Это было время веселой бедности, и Гай с улыбкой вспоминал случай, когда обе семьи были поглощены то ли штопкой, то ли латаньем единственных Гогиных штанов. Соль рассказа была в том, что родство душ казалось много дороже признаков внешнего благополучия.

В «Ленкоме» Георгий жаловал Григория, и они дружно получили Сталинскую премию не то за спектакль «Из искры», где Лебедев играл Сталина, а Гай – грузинского работягу по имени Элишуки, не то за «Репортаж с петлей на шее» Фучика, где Грише досталась роль тюремного надзирателя Колинского.

Кроме грузина и чеха Гай сыграл еще украинца, узбека и несколько лиц других национальностей, и это, безусловно, доказывало, что он никакой не космополит, а, наоборот, пропагандист и агитатор дружбы братских народов.

Особенно приятно было узнать, что Гриша исполнил роль героя пьесы Абдуллы Каххара «Шелковое сюзанэ» по имени Дехканбай, а Гога за эту очевидно выдающуюся постановку был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств Узбекской ССР»...

«Дорогой Георгий Александрович!» — писал из больницы Гай...

По чуткому стечению благосклонных обстоятельств на теплоходе «Хабаровск», отчалившем наконец от советского порта Находка, с нами плыла балетная труппа Большого театра, и вряд ли мне удастся передать через годы, какое блаженное томление заключалось в том, чтобы, опершись о палубные перила, отважно говорить с легконогой Ниной и длинношеей Людмилой о дивных беглецах Рудольфе и Мише, об элевации и подержках, о звездных прорывах на авансцену и разумной привычке стоять «у воды», то есть прочно держаться в спасительной тени кордебалета...

Задавая виноватые вопросы, я узнавал от Люды и Нины о судьбе их прекрасных товарок – безвозвратно потерянной мною Ольги и до конца дней дорогой Жени, которые, слава богу, еще танцуют, но живут другой жизнью и, может быть, помнят, может быть, помнят меня...

Мы говорим, как будто танцуем; на плавной палубе некуда деться от тайной любви к морской свободе и женщинам-птицам. Их, конечно, бдительно охраняют, но мы охранникам не опасны: мы не знаем балетного эсперанто, и что с нас взять, почти безъязыких?

Если в будущем у меня станет отваги, я погублю актерскую карьеру и покаянным отщепенцем сяду за письменный стол, чтобы подробно и безнадежно вспоминать своих ненаглядных, и посылать им поздние поклоны, и благодарить закулисное небо за то, что радость меня не миновала...

А пока... Пока я плыву по Японскому морю, и до меня тихо доходит: вот как живут неведомые миллионеры и заграничные аристократы, проводя свое драгоценное время на палубах белых пароходов и небрежно роняя слова в мировое пространство...

А тут еще крахмальные официанты в кают-компаниях за обедом, и карты меню, и сверкающие приборы, и луковые супы, и авокадо, и музыка сладкого свойства, и взгляды балетных наяд и обалденных русалок...

Здесь же, на палубе, возникла и обнаружилась еще одна ниточка нашего сюжета, сотканная чистой воды случайностью, ибо чем еще я могу объяснить беспечное знакомство нашего маэстро Семена Розенцвейга с тремя молоденькими японками, возвращавшимися на древнюю родину из «дикой Европы».

Палубная жизнь призывала пассажиров не только к пассивному сибаритству, но еще к подвижным играм и знакомым развлечениям. Молодой швед в малиновой майке усердно работал неким подобием швабры, передвигая по большому шахматному полю огромные шашки. Может быть, он чувствовал себя Гулливером, но ему от души нравилось это дело, и, подпрыгивая от полноты чувства, он беззастенчиво и громко смеялся.

А три юные японки были так простодушны, что соревновались между собой, стараясь повыгоднее набросить резиновые кольца. Квадратный деревянный щит стоял под углом в сорок пять градусов, а на нем торчали железные штыри: попади колечком на штырь, под ним – цифра, кто больше очков наберет.

Это были первые японки, которых мы увидели, направляясь в загадочную страну, но, по правде сказать, лично я испытал легкое разочарование, настолько они показались мне неказисты рядом с райскими птицами из балета.

Но наш маэстро Семен Розенцвейг увидел их совсем по-другому и даже заговорил, благо у него была такая языковая возможность, и юные японки легко отозвались его смущенным речам. Я не знаю, о чем они говорили на смешанном англо-немецком сленге, но одна из них оказалась русисткой и внесла в беседу русские слова, и на следующее дивное утро, когда все население парохода еще крепко спало в своих каютах от первого до четвертого класса, наш Семен в спортивном костюме бодро вышел на пустынную и влажную палубу, чтобы встретиться с юной Иосико.

И вот они вдвоем побежали вдоль борта по большому кругу, начиная общую оздоровительную зарядку... Вдоль борта, вдоль борта, вдоль борта... Поворот по корме, и обратно вдоль борта... Поворот у форштевня, и снова к корме...

И вдруг, отвлекаясь от техники дыхания, они услышали музыку морского простора, рвущегося тумана и восходящего солнца. И никто не придавал значения тому, что каждый восход они встречали вдвоем на пустой палубе парохода и бегали рядом, Семен и Иосико, несмотря на большую разницу в возрасте, а может быть, именно благодаря ей. Их совместные пробеги имели продолжение на острове Хонсю и позднее – в Советском Союзе, а до чего они добежали, я сообщу в свое время...

И вдруг в эту размеренную аристократическую жизнь, как смерч, врывается Зинаида Шарко. Просматривая в каюте закупленные в Находке газеты, она задержала свое чуткое вни-

мание на массовом органе наших профсоюзов. Последний номер газеты «Труд» сообщал: *«Первое сентября. Над Японией пронесся чудовищной силы ураган, снесший с земли чуть ли не всю Иокогаму, на две трети Токио и на треть Осаку... Не поддается подсчетам число жертв и разрушений... Уцелевшая часть японского правительства обратилась к мировому сообществу...»* И так далее, и тому подобное, можете себе представить...

Переполненная трагическим ужасом, Зина взлетает на палубу, где разомлела большая группа пассажиров, и своим дивным тремолирующим голосом зачитывает вслух ужасный текст. Газета переходит из рук в руки. Дама из советского посольства падает в обморок и, приведенная в себя, рыдает о детях, оставленных в Токио на время ее советской отлучки. Вокруг Зины и дамы растет женская паника. У мужчин возникают головокружительные вопросы.

Артист Николай Трофимов резонно вопрошает:

– Зачем же нас посылают на верную гибель?..

Владислав Стрельчик зовет к мужеству и терпению...

А ветеран фронта и тыла Иван Пальму, исполненный стойкого патриотизма, успокаивает тоскующих женщин:

– Наши обязательно что-нибудь сделают!.. Вот увидите, такой театр, как наш, правительство обязано спасти!..

У этого эпизода столько же вариантов, сколько участников. Так, Анта Журавлева услышала жуткую весть от Олега Басилашвили, а тот хорошо помнит, что к нему с газетой «Труд» в беспокойных руках явился директор Суханов. Он и сказал Олегу, что дальше плыть, собственно, некуда, потому что Японии как таковой больше не существует. Бас принял известие всерьез, так как Суханов шутить не умел, а разыгрывать не имел права, и посоветовал ему идти в капитанскую рубку, чтобы капитан связался по радио с теми, кто мог дать центральные указания по этому ужасному поводу.

Некоторые патриоты громко предлагали немедленно развернуть пароход и двигать назад в родную Находку.

Судя по всему, именно Геннадий Иванович Суханов сообщил Анте Антоновне Журавлевой о катастрофе и совете Олега Валериановича Басилашвили и просил ее связаться с центром, потому что именно Анта Антоновна Журавлева пошла разыскивать капитана и нашла его в люксовой каюте Кирилла Юрьевича Лаврова.

Однако на этот момент и Кирилл Юрьевич, и капитан пребывали в состоянии совершенной беспечности, из которого выходить не только не собирались, но даже и при желании не могли. Наоборот, оба они успешно искали новой степени счастливой беспечности, что и подтверждала реплика капитана:

– Могу я раз в жизни расслабиться с любимым артистом?..

Через пятнадцать лет, вспоминая этот случай со счастливой улыбкой, Анта Журавлева, которой только что удалили аппендикс, попыталась ограничить меня:

– Но об этом писать не надо!..

И если я ослушался, от души желая ей здоровья, то лишь потому, что над нами нависло беспутное время, которое оказалось сильнее остальных страхов и вянущих пожеланий.

Я только переспросил Кирилла, помнит ли он пароходное возлияние с капитаном, и Лавров сказал:

– Про капитана не помню, а я на «Хабаровске» пил крепко...

Вот благородный поступок: взять вину на себя и отвести ее от товарища.

Поэтому руководительнице поездки пришлось выйти из люкса и обратиться к старшему помощнику капитана, несущему вахту в капитанской рубке...

Далее показания путешественников опять сходятся: суровый мореход появляется на палубе и в окружении балетных и драматических артистов погружается в трудное чтение. Все смотрят на него с ужасом и надеждой...

– Да, трагедия, – задумчиво говорит старший помощник, и лица окружающих его артистов становятся похожи на маску трагедии: углы губ опускаются вниз, а брови поднимаются домиком. – И все-таки будем волноваться в разумных пределах. Вот тут, выше сообщения, читаю название рубрики: «*Что было шестьдесят лет назад*». Стало быть, ураган случился первого сентября 1923 года. Делаю вывод: у японцев было время принять должные меры... Плывайте спокойно, товарищи...

И мы доплыли.

Перед высадкой оба театра собрали в музыкальном салоне, и, поднявшись на борт, двое ребят из советского посольства сообщили о текущем моменте. Они стояли на оркестровом подиуме, в центре, а мы толпились вокруг.

– Обстановка очень сложная, очень, – сказал старший, вяловатый и безликий, держа пиджак в левой руке и вращаясь вокруг собственной оси. – Такая создалась обстановка, товарищи, что сейчас Ованес зачитает вам заявление советского правительства.

– Пожалуйста, громче, – попросил из салона встревоженный Иван Пальму и приставил ладонь к уху.

Чернобровый Ованес читал достаточно громко, но не вращался по часовой стрелке: очевидно, официальный текст не давал ему оснований для круговой мизансцены.

Советское правительство заявляло, что принадлежащий южнокорейской авиакомпании «Боинг-747» с двумястами шестьюдесятью девятью пассажирами на борту, атакованный нашим истребителем-перехватчиком над Охотским морем и улетевший в сторону моря Японского, коварно, с разведывательной целью нарушил воздушное пространство нашей Родины, и мы не можем считать себя виновными в гибели экипажа и несчастных пассажиров. Мы, советские люди, как всегда, единодушны и, сожалея о погибших, твердо заявляем, что и впредь собьем и утопим любого нарушителя священной границы...

Выходило так, что, тревожа беспечный «Хабаровск» вестью о катастрофе, Зина Шарко как в воду глядела...

5

Первым под вспышки корреспондентских блицев и направленный свет ручных телекамер высаживался в Иокогаме «Большой балет», и Нина с Людой повели меня на прощанье лебедиными руками...

Я смотрел им вслед и видел, как махнула прощальной рукой высокая Ольга, когда мы расставались в беспечной Праге. Тогда, в шестьдесят восьмом, прощаясь, я был много моложе, беспощаднее к женщинам и глупей, чем сегодня, хотя моим критикам трудно будет в это поверить.

Что мне осталось от пражского прощанья? Единственное письмо из Нормандии? Знакомое чувство стыда и вины за танковое вторжение? Или рассказ уходящей с «Хабаровска» Нины о том, что Ольга замужем за русским, а сыновей зовут Матвей и, кажется, Димитрий?..

Когда автобусы «Большого балета» отвалили от причала, был дан сигнал движения и нам.

Похожие на мальчишек маленькие японские носильщики потрясенно грузили на хрупкие тележки наши консервные, наши свинцовые, наши гранитные чемоданы.

Единственное, о чем я мечтал, стараясь как можно элегантнее ступать по сходням, так это о том, чтобы вопросы японских репортеров меня не коснулись. И мне повезло. «Что вы думаете о расстреле южнокорейского пассажирского “Боинга”?» – слава Всевышнему, спросили других.

Черной борсалино, роскошной бородой и импозантным галстуком первым привлек к себе внимание рабочий сцены Коля Турбанов. Он приветливо улыбнулся в телекамеру, развел руками и сказал короткий текст, которому его учили.

Рома Белобородов как заместитель директора многозначительно ушел от прямого ответа, сказав, что надеялся на вопросы об артистах.

А Люда Сапожникова, со свойственной ей актерской непосредственностью, сказала прямо:

– Какое ужасное несчастье!..

Но когда через много лет я переспросил Люду, так ли именно она отвечала японским репортерам, она посмеялась надо мною.

– Володя! – сказала она. – Что я, дура, что ли! Нас же предупредили, чтобы мы были осторожны и ничего такого не говорили. Я им сказала, что очень устала с дороги... За нами же все время следили!.. Володичка, разве ты не помнишь, с нами было четыре кагэбэшника!..

– Разве четыре, Люда?.. Я помню, кажется, двух...

– Володя!.. Их было четыре!.. Двое были как бы рабочими сцены... Худенькие такие... Чтобы следить за рабочими... И еще двое как бы начальство... Чтобы следить за нами!..

– Боже мой! – сказал я. – Какая у меня плохая память!.. А может быть, и ты не все помнишь, Люда? Мне так понравился твой ответ... Знаешь, я все-таки оставлю, как у меня было: «А Люда Сапожникова сказала: “Какое ужасное несчастье!..”».

Все сорок дней, проведенных нами в Японии, прошли под знаком воздушного расстрела, и наши экзотические впечатления чередовались с напоминаниями о первом сентября.

Пресс-конференция начальника Генерального штаба Огаркова... осадное положение агентств «Аэрофлота»... портрет погибшего американского сенатора и скорбные речи его семьи... фотографии шестидесяти японцев, принявших смерть в числе других пассажиров... ожидающий новых данных премьер-министр Японии Накасоне... рассуждения чужих дипломатов и собственных закулисных политиков о возможном развитии событий... вызов нашего посла в токийское министерство... объявление санкций японского правительства и закрытие на две недели советско-японских авиалиний... пароходы и катера, бороздящие взволнованное пространство в акватории катастрофы... рыдающие родные и погребальные венки на океан-

ской волне... Все это и многое другое не давало забыть о том, кто мы такие, все вместе и каждый в отдельности...

Монолитное единство советского народа и его железная сплоченность вокруг родной партии и правительства требовали от меня полного отрицания нашей вины в гибели несчастных пассажиров. Но предательский гамлетизм беспутного сознания заставлял считать виноватым именно себя.

У коллектива на этот счет сложились различные мнения. Но плакат «Вы убили нашу семью!» произвел сильное впечатление на всех...

Из Иокогамы на автобусах нас без остановок привезли в Токио и стали расселять в далеком от центра «Сателлит-отеле». Весь этот район вместе со станцией метро назывался Каракуэн.

«Сателлит» значит «спутник», и гостиница полностью соответствовала своему мало-звездному названию...

Расселение труппы на гастролях – вот мотив для поэмы о театре, и пусть сильные и молодые воспользуются моей наводкой. Я же рискну лишь на беглый намек или робкий набросок, потому что боюсь безнадежно застрять в мелочах драматического ритуала.

До того как вошел в отведенный номер, а главное – окинул взором номер соседа, никто не может быть до конца спокоен, даже самые первые лица... И вид из окна имеет значение, и холодильник, и то, какой телевизор. Не говоря уже о количестве комнат. Поэтому административный талант Бориса Левита в прежних поездках, а вслед за ним и Ромы Белобородова при каждом расселении должен был быть целиком востребован и до конца проявлен.

Спокоен, конечно, относительно, тот, чью жену в поездку взяли, ну, например, Вадим Медведев по поводу себя и Вали Ковель; или тот, кто будет жить в одиночку, но чья безусловная автономность – еще одно подтверждение его заслуг и таланта.

Почти спокойны также и те, чьи однополые пары сложились давно и прочно и остались вне подлых подозрений...

Но как описать молчаливые драмы непарных или признанных не в полную меру?.. И в этом-то вся загвоздка: кто из нашей страждущей братии может сказать, что и признан, и оценен по счастливой и полной мере, если даже Слава Стрельчик, томясь и глядя в законную даль, сказал мне глухим голосом:

– Холодильников нет ни у кого, кроме Лаврова...

Был у нас случай, когда труппа заночевала в Синае, во дворце бывшего румынского короля Михая, и Паше Луспекаеву достались невиданной красоты и роскоши апартаменты с голубой ванной, зеркалами в потолке и кроватью под балдахином – всеми признаками королевской опочивальни. В этой декорации, как и в любой другой, Луспекаев смотрелся картинно, и, усевшись в центре ложа со скрещенными, тогда еще не так болевшими ногами, он с общей помощью разыгрывал смешные этюды. Как принято в хороших театрах, короля «играли» придворные.

– Теперь бы сюда хорошенькую румыночку, – хищно сказал Паша.

Но тут вместо румыночки появилась одна из наших героинь и, оценив обстановку, задала суровый вопрос:

– Почему королевская спальня досталась Луспекаеву, а не мне?

Чтобы не возбуждать ее гнева, ответили правдиво:

– Это вышло совершенно случайно...

Но она была не удовлетворена и пошла разбираться к директору, однако, перепутав номер – случайность плодит другую случайность, – распахнула дверь, за которой поселили другую

нашу героиню. Та была уже в постели и готовилась ко сну. Думая, что попала в тот номер, который искала, одна из наших героинь сказала другой:

– Ах так!.. Ты уже спишь в кровати директора!.. Ну, хорошо!.. Ну, погодите!.. Вот я сейчас уеду в... И заберу с собой...

Зная, что вызову недовольство читателя, я все-таки не скажу, в какой город собралась ехать вспыльчивая героиня и кого именно грозила с собой умыкнуть... Уж если я не называю некоторых имен, значит, у меня есть внутренние препятствия и причины, смысла которых я и сам не всегда могу определить.

Может быть, замыслы мои более честолюбивы, нежели простое описание случаев из актерской жизни?

А может быть, эта книга, забирая власть над автором, неудержимо влечет от частного эпизода в сторону свободного парения и обещает героям и героиням такие поступки, которых в жизни не совершали знакомые ему прототипы?.. Кто знает?..

Что касается меня самого, то, «с отвращением читая жизнь мою», признаюсь, что точно так же, как та героиня, был смертельно уязвлен, когда узнал, что в «Сателлит-отеле» мне любимому приготовлен номер всего лишь на четвертом этаже, тогда как других артистов моего заслуженно среднего положения расселяют несколько выше...

Страдая и отчаиваясь, я пытался унять горделивую обиду и оправдать клопочущий в горле гнев прагматическим рассуждением о том, что верхние этажи не просто престижней, но в них есть еще и дополнительное жизненное пространство...

«Где справедливость? – спрашивал я судьбу, совершив постыдную разведку, – номер на четвертом этаже на целую половинку татами меньше, чем на шестом!.. В нем нет этого чудного плоского шкафчика, как на шестом!.. И негде чемодан угнездить, как на шестом... И негде повернуться!.. И вид из окошка позорно ограничен... Другие такие же, как я, – на шестом, а я такой же, как те, – на четвертом... Почему?..»

Тут припомнился мне и другой заграничный случай, когда я отказывался разделить с Изилем Заблудовским номер хотя и с двойным, но нераздвигаемым супружеским ложем и требовал себе отдельного койко-места. И дело тут не в Изиле, человеке во всех отношениях безупречном и не вызывающем никаких подозрений, а во мне и моем упрямом намерении и днем и ночью отстаивать собственный сепаратизм. Тогда у меня хватало мужества выходить на прямой разговор с начальством. Правда, в те поры наш истребитель не сбивал южнокорейского «Боинга» и не было такой сложной международной обстановки...

– Володя! – сказал мне Борис Левит, предыдущий заместитель предыдущего директора, – а ты не находишь, что твое требование недостаточно скромно?..

– Ах вот как? – воинственно переспросил я. – А укладывать меня в одну койку с Изилем, по-твоему, скромнее?

Однако Борис не сдавался:

– Но, Володя, здесь стоят не одна, а две кровати.

– А ты попробуй их раздвинуть, – коварно предложил я.

Борис попробовал и, несмотря на то что в молодости занимался боксом, сделать этого не смог.

– Вот видишь, – не удержавшись, сказал я.

Но Борис не признал своего поражения. Он сказал:

– Ну и что?.. Кроватей все равно две.

Стараясь быть совершенно спокойным, я сказал:

– Если они не раздвигаются, значит, не две, а одна. – И, проявляя гибкость, добавил: – Пойми, Боря, я вовсе не возражаю против того, чтобы жить в одном номере с Заблудовским, я только против того, чтобы спать с ним в одной койке...

В ответ Борис дружелюбно посоветовал:

– Володя, ты все-таки подумай, по-моему, постель достаточно широка.

– Вот и ложись в нее с кем захочешь, – огрызнулся я, снова проявляя свою агрессивную сущность и толкая Бориса к справедливому негодованию.

Однако номер он нам поменял, и между двумя лежанками возникло целомудренное пространство...

А теперь... О японские боги!.. Неужели я не достоин возвыситься до шестого этажа, где койка помещается не вдоль номера, а поперек и вид из окна способен расширить мои горизонты?

Наконец, отчаявшись и исстрадавшись, я понял, что, согласись я на четвертый, буду до конца своих дней затоптан и унижен и сам буду в этом виноват. Решительно оторвав от пола чугунный чемодан, я вернулся в вестибюль и предъявил Роману Белобородову свои поправленные права.

Как заместитель директора Рома признал свою неумышленную ошибку, но счел нужным отметить, что из всего большого коллектива, понимающего особую сложность международной обстановки, один Рецепттер имел неосторожность выразить свое личное бытовое неудовлетворение...

– Берегите голову, – сказал мне Рома, вручая ключ от номера в шестом этаже, и мне почему-то запомнилась его предупреждающая реприза.

Но, Боже, какое счастье испытал я, завоевав одну вторую татами и выиграв целых два этажа! Как уютно мне стало в моем законно добытом пространстве под номером 636!

Я смотрел в окошко и видел, как паркуются во дворе нашего отеля автобусы и легковушки, как выше, за нашим забором, выплывает из темной норы тоннеля, проткнувшего холм, неспешная подземка; как беззвучно играют дети на крохотном школьном стадионе, прислонившись к фабричной стене, и как большие круглые часы над стеной останавливают время.

А зелень деревьев!..

А небо!..

А счастье одинокого мига!..

Завидуйте мне, господа! Я скоро увижу Фудзи!

6

Однако автору следует честно признаться, что кроме знаменитой Фудзиямы он ждал и жаждал увидеть вблизи другую вершину, от которой жизнь и судьба его зависели в гораздо большей степени, нежели от спящего вулкана. Этой вершиной и одновременно вулканом, причем вовсе не спящим, а безусловно действующим, был не кто иной, как Георгий Александрович Товстоногов, художественный руководитель Академического Большого драматического театра имени М. Горького, в чьей монаршей воле было приблизить к себе, то есть к настоящей славе, подручного искателя или же, наоборот, задвинуть и отдалить. О, как много вопросов артист Р. хотел обсудить с Мастером, имея в виду не только свое, но и общее с ним прекрасное будущее у костра бессмертного искусства!

И точно так же, как он, ждали и жаждали такого свидания очень многие члены творческого коллектива, не в меньшей степени озабоченные собственной судьбой и столь же зависящие от хорошего отношения к ним своего Отца и Наставника.

Отец же задержался дома, и в Токио его ждали с неба, то есть самолетом, лишь к моменту окончания нашего земноводного путешествия.

Хотя это и общее место и само собой разумеется, но вдумчивый читатель должен помнить и понимать, что каждый артист всю жизнь проводит в выяснении отношений со своим режиссером, даже и тогда, когда не беседует с ним, а всего лишь попадает к нему на глаза. Потому что и случайный взгляд на артиста – событие, так как является напоминанием театральному Вседержителю о бедном грешнике, напоминанием, от которого может зародиться здравая мысль о его недооцененных или недоиспользованных пока актерских возможностях.

И правда, один вид актера может превратиться в живой упрек Мастеру и разжечь в нем вспышку заботы. Иной раз и нескольких молчаливых встреч или двух-трех «здравствований», произнесенных со скромным достоинством, может оказаться довольно, чтобы получить новую роль. А всякая роль – это путь к творческой радости и лучшему положению...

Впрочем, если последняя роль не удалась, актер превращается в наглядный пример неудачи, и встреча с ним рождает негативные эмоции, а Мастер в своем великом труде должен быть всегда прекрасен и радостен...

Жизнь артиста – вечная тревога и вечный вопрос: смириться или бунтовать? Не бывает ни одного члена труппы сверху донизу, который был бы постоянно удовлетворен и не нервничал: «слишком много играю, везу воз за других» или «слишком мало играю, могу растерять зрителя». Даже самые благородные и любимые, с довольной улыбкой на челе, внутри себя всё обсуждают и обсуживают свое непостоянное положение. И так до конца, пока, как говорится у классика, «положат тебя и лежи» – вот до этого последнего «положения».

Впрочем, и тут непокой у администрации и окружающих – *куда положить*: в Пантеон, на Литераторские мостки, на Волково, или Богословское, или по соседству с Ахматовой, в Комарове, или, как Пашу Луспекаева, в поселке Парголово, на рядовое и отдаленное Северное.

И это вечное выяснение отношений происходит независимо от воли актера и безо всякого явного участия второй стороны, то есть руководителя. Каждый лицедей частенько пробуждается среди ночи и пытается толковать свои сны, в которых как любимый герой постоянно участвует его театральный Вождь и Учитель. Даст ему Гога эту роль или не даст, ту ли роль он прочит ему или вовсе иную, и почему ее, долгожданную, наконец получил совсем другой артист, а не он, единственный и самый достойный.

А тут еще – зарплата и премия...

А тут еще – зарубежные гастроли...

А там, глядишь, и представление к награде или званию... Мало ли что?..

И во всем этом – «Гога сказал...» или «Я спросил, а Гога ответил», «Гога уехал», «Гога приехал», «Гога заболел», «Гога выздоровел» и так далее, и тому подобное, но всегда неизменно и постоянно: Гога, Гога и Гога...

Зоркие наблюдатели следили за большими гардеробными соревнованиями ведущих артистов за почетное место вблизи Гогового плаща. Со стороны это может показаться пустяком, но в стенах театра пустяков не бывает. Чем ближе крючок и вешалка члена коллектива к крючку и вешалке Мастера, тем уверенней сосыетер в своем лучезарном будущем.

Долгое время Гога вешал свое верхнее платье в глубине гардероба, где находилась дверь, ведущая за кулисы. Сюда и потянулись пальто и плащи народных, заслуженных и лауреатов. Но однажды Мастер неожиданно сменил ориентир и водрузил свое изящное полупальто у самого входа со двора, там, где обычно отвисались пальтишки «второй категории», никчемные плащички пришлых и «разовиков».

Это произвело шоковое впечатление на многих, и хотя тема занимала умы, но, по негласному договору, считалась закрытой...

Именно это обстоятельство, думаю я, имел в виду Константин Сергеевич Станиславский, когда сказал свою знаменитую фразу: «Театр начинается с вешалки!» А наш Гога был верным последователем Станиславского...

Когда в вестибюле отеля возникло броуновское движение и зазвучали первые имена вперемежку с номерами, из уст в уста пронеслось сообщение о том, что ввиду возможных провокаций выходить за пределы «Сателлита» пока не советуют...

Решение гастрольного генштаба лично до меня довел секретарь партийной организации артист Анатолий Пустохин.

Как обычно, Р. стал задавать лишние вопросы:

– Что значит «пока»?

Толя не без юмора пояснил:

– «Пока» значит «пока». То есть до следующей информации...

– А что значит «не стоит»?

Стараясь не раздражаться, он перевел:

– «Не стоит» значит «не рекомендуется».

Но я не угомонился:

– Толя, – сказал Р., – ты – начальник, объяви в повелительном наклонении: никуда, мол, не ходите. И тебе проще, и нам...

– Нет, Володя, – отвечал Толик с холодной улыбкой, взглянув по сторонам и призывая окружающих в свидетели моей тупости, – повелительным наклонением мы не пользуемся. Мы только рекомендуем или не рекомендуем. В данном случае не рекомендуем. Вот и всё...

И отошел к руководящей группе...

Вообще говоря, против Толи Пустохина я ничего не имел. Скажу больше: если бы он жил хотя бы через стенку, я бы ему даже симпатизировал, как симпатизировал его предшественнику на посту парторга артисту Евгению Горюнову.

Единственное, что мне не слишком пришлось по душе, так это то, что Толя поселился в нашей насквозь аполитичной гримерке и занял место Паши Луспекаева. Это произошло совершенно случайно и безо всяких с Толиной стороны претензий. Скорее всего, зав. труппой Валериан Иванович Михайлов этим хотел выразить ему свое заведомое расположение, потому что размещение новых артистов входило в его компетенцию, но именно эта случайность поставила Толю Пустохина в трудное положение...

С Луспекаевым и Сергеем Сергеевичем Карновичем-Валуа мы были стопроцентно беспартийны, а наш четвертый, Гриша Гай, был даже счастливо исключен из партии. В нем одном

и сохранились невыполотые ростки партийности, конечно, со знаком минус. Скажу больше, Гай был отважно и благородно антипартиен и позволял себе такие тексты и анекдоты, которые в других гримерках, кажется, вряд ли можно было услышать...

До прихода Пустохина наша «каюта» имела экзотический вид и накапливала в себе особую ауру жизнелюбия и непринужденности. Создавал и определял ее, конечно, магический Луспекаев. Но, может быть, и остальных случай подбирал не без умысла...

Все наши стены и простенки, щелочки между портьерами и даже сами портьеры поверху были увешаны стендами и отдельными рамками с тысячами фотографий разных времен, на которых запечатленными на века оказались лица артистов, друзей, знакомых, родственников, а главное, женщин – любимых женщин Карновича-Валуа, начиная с той платной красавицы, с которой гимназист Сережа потерял невинность в 1916 году, и кончая далекими и недоступными дивами мирового кино. Сергей Сергеевич не раз водил меня на экскурсии по своему историческому прошлому, а я время от времени дарил ему оставшиеся незанятыми уголки и щели над своим зеркалом и столом.

К Карновичу-Валуа, высокому, породистому, красивому пожилому мужчине с прямой спиной и прекрасной лысиной, которую он для сцены частично укрывал наклейками или париками, захаживали порой, как он их сам называл, «племянницы», которых он продолжал неутомимо фотографировать и учить благородным манерам...

К Паше Луспекаеву шли откровенные поклонницы и скрытные корреспондентки...

К Грише Гаю, которого знали по фильмам, тоже жаловали подруги и подружки...

Признаюсь, что и у меня случались милые гости...

Словом, в нашей гримерке царил дух безупречно мужской и, я бы даже сказал, творческо-гусарский...

А когда на луспекаевском месте оказался Толя Пустохин, атмосфера стала постепенно меняться, потому что здесь уже пошла попутная уплата членских взносов, возникли беседы шепотом с приходящими извне товарищами и поселилась торжественная недоступность чуждых нам секретов. Нет, не то чтобы Толик взялся нас перевоспитывать, для этого он был достаточно умен, просто в соответствии с должностью он не давал себе права быть с нами таким же открытым, как мы привыкли, и вместо одного стиля в гримерке стали вынужденно уживаться два...

За кулисами прямо говорили, что Анатолия Феофановича Пустохина театру рекомендовал областной комитет, когда парторг-предшественник Женя Горюнов вдруг оставил семью и стал сокрушительно спиваться...

Горюнов был человек достойный и обладающий достоинством; если райком, горком или обком обрушивали на театр свои громы и молнии, Женя, как говорили знающие, все брал на себя, выгораживая театр и тем самым Гогу. Конечно, Р., будучи лицом беспартийным, подробностей не знал, но общее впечатление складывалось именно такое. А потом Женя начал спиваться, и обкомгоркомрайком счел нужным заменить парторга, наращивая и укрепляя свое влияние на театр...

Родители Горюнова служили по дипломатической части, и в паспорте у него местом рождения значился Париж. По одной версии, Женя окончил Школу-студию МХАТ, а по другой – студию Большого драматического, но при всех условиях он был хорошо воспитан, успел многое прочитать и подавал большие надежды. А когда началась война, по воле великого случая Женя с ходу попал в разведку...

Этот эпизод известен старожилам театра, но их становится все меньше и меньше, и поэтому, боясь, что он затеряется в волнах новейшей истории, я берусь пересказать его, как знаю...

Однажды, выполняя задание, Женина разведгруппа в составе трех человек столкнулась с немецкими разведчиками. Их тоже оказалось трое. И вот нос к носу сошлись трое на трое, и им ничего не осталось, как схватиться врукопашную. Как на грех, тщедушному мальчиговому Жене достался огромный и матерый битюг.

Немец подмял Женю под себя и стал душить. Дело шло к концу, язык вывалился, но товарищ, справившись со своим, оказался рядом и ударил Жениного битюга ножом в шею. Руки немца все еще продолжали давить Женино горло, и чужая кровь хлынула ему в рот. Чтобы не захлебнуться, Женя только и мог делать, что глотать и глотать горячее липкое пойло.

Он спасся от смерти, но вкус крови во рту был так ужасен, что всю обратную дорогу Женю выворачивало наизнанку...

Когда разведчики добрались до части, старослужащие дали ему выпить стакан спирта – до этого Женя никогда не пил! – и он вырубился на целые сутки.

Назавтра снова тошнило, и снова его лечили спиртом. И снова... И опять... С тех пор пошло...

В театре работала актрисой его жена Марина, дочь знаменитого александрийского артиста Константина Адашевского; вырослел их сын. Только вот выпивка подводила...

А потом Женя Горюнов увлекся нашей новой гримершей и, по-фронтовому рискуя, сошелся с ней.

Таня была много моложе его и вдруг позволила все, о чем дома в присутствии величественной тещи и строгой жены Женя и подумать не смел. Она сама подносила ему рюмку, целовала его изящные руки, становилась перед ним на колени.

– Маленький мой, любименький мой, – говорила Таня, лаская теплыми ладонями его смятое интеллигентное лицо, и в ореоле ее нежности сублинный Женя снова начинал чувствовать себя защитником и мужчиной.

Поздняя любовь оказалась для него роковой. Татьяна была девушкой рискованной и беспечной, искала всех радостей жизни, и они принялись веселиться вместе.

Некоторые ревнителю нравственности предлагали Женю наказать, исключить из партии, уволить из театра, но, по преданию, Товстоногов им сказал:

– Горюнова не трогайте.

И его послушались. Даже написали соответствующие бумаги в горисполком и выхлопотали для Жени с Татьяной комнату, хотя и в махровой коммуналке, но на Большом проспекте Петроградской стороны...

Скоро Таня из театра ушла и стала работать уборщицей в продуктовом магазине. А там – сами понимаете – винный отдел, свое окружение.

Горюнов продолжал ходить в театр, но изменился так, что смотреть на него становилось все труднее, и, инстинктивно исключая его из стаи, многие при встрече с Женей стали отводить глаза.

Наступила зима, и оказалось, что и ходить-то ему уже не в чем. Тогда собрали деньги на зимнее пальто. Порученцы взяли у костюмеров горюновские размеры, сообразили, что он еще больше усох и уменьшился по сравнению с тем, каким был раньше, сами выбрали фасон и сами пальто купили – вполне приличное, на ватине и с мутоновым воротником, – не деньги же ему отдавать, деньги Женя все равно бы пропил...

Те, кто понес вручать обновку по адресу, вернулись в тоске – такая там была бедность и тараканья пирушка...

Когда Евгений Горюнов умер, театр взял на себя похоронные расходы, но, по правде сказать, в крематорий пошли совсем немногие...

Лавров с Кузнецовым, отдавая последний долг, пошли.

И Юзеф Мироненко тоже...

7

Почему неизвестный обратился именно к Юзефу?..

Потому что Мироненко такой высокий и светловолосый, а незнакомец такой чернявый и маленький?.. Или оттого, что был поздний час и именно Юзеф попался ему навстречу в пустынном холле?.. Как бы то ни было, пришелец принял его за начальство и стал в чем-то красноречиво и горячо убеждать.

Как показалось Юзефу, неизвестный говорил исключительно по-японски. Глядя на него сверху вниз, Юзик долго и вежливо слушал и даже несколько раз понятливо кивнул. Когда загадочный гость окончил монолог, Юзеф жестом велел ему остаться на месте и от портье стал звонить переводчице.

Второй день мы жили в «Сателлите», осваивая близлежащий район и гостиничные правила.

Сперва, дружно напялив светлые кимоно, многие сошлись в холле, потому что здесь можно было набрать в номерной кувшин или холодную кипяченую воду, или крутой кипяток. В кимоно все очень понравились себе и друг другу, а некоторые, разыгравшись, зашебетали якобы по-японски и заходили мелкими шажками или тяжелой походкой, изображая гейш и самураев... Обслуга смотрела на нас, выкатив глаза, пока переводчица Маргарита не объяснила господам артистам, что наши кимоно – спальные, являют собой не что иное, как ночные рубашки, и в них не стоит выходить в коридор...

Тогда все разошлись. Кто хотел выпить, выпил, а кто ждал случая с кем-то нежно объясниться, тоже рискнул. Тяжелая международная обстановка не могла на корню истребить железных гастрольных привычек и склонностей.

Только Вале Ковель сразу же не повезло: неловко повернувшись в японской тесноте, Вадим Медведев толкнул кувшин с крутым кипятком и страшно ошпарил ей руку.

Крик, раздавшийся из номера, был, по словам их соседки Маргариты, нечеловеческим, а точнее, звериным, и, когда, кинувшись на помощь, она в ужасе застыла на пороге, Вадим, инстинктивно снимая с себя часть ответственности, сообщил ей:

– Мы пролили кипяток...

Первое, что навзрыд стала шептать Валя, было:

– Как же я буду играть?! Мне надо быть обнаженной!..

Но придется ли нам играть, было еще совсем не ясно, и каждое утро, стараясь не привлекать внимания публики, Маргарита уводила Валю задами и везла на лечение и перевязку к японскому хирургу, а Вадим, полный раскаяния и супружеской солидарности, ходил их сопровождать. Рана оказалась глубокой, но хирург был чудодеем и успокоил бедную Валю, обещая применить для перевязки материал телесного цвета, такой, что публика ничего не заметит. Так и случилось, и большинство коллектива узнало об этой драме позднее, так как ее решили держать в тайне, а тайну честно хранил узкий круг доверенных лиц. И все же руководством было принято решение расширить жизненное пространство супругов, и Валю с Вадимом переселили в соседние, но отдельные номера.

Вообще-то говоря, Маргарита была прикомандирована лично к Гоге, но прилетевшего только что Товстоногова вместе с сестрой Нателлой и ее мужем Лебедевым поместили в другой гостинице, ближе к токийскому центру, а Маргарите вместе со всеми достался «Сателлит».

При расселении Юзеф был несколько обескуражен, так как обычно оказывался в паре с Иваном Матвеевичем Пальму, однако еще по дороге возникло опасение, что их могут разлучить, так как у Пальму на японских островах будут большие заботы по руководству трудней-

шей четверкой, в которую входила непредсказуемая Шарко, и Юзеф на всякий случай решил подобрать себе другого напарника.

Исходя из того, что Мироненко был женат на одной из основных мастеров гримерного цеха, а впоследствии его заведующей Наташе Кузнецовой, подумали о другом мастере того же цеха Тадеуше Щениовском. Но Тадеуш являлся лицом, давно и неисправимо курящим, тогда как Юзеф окончательно бросил курить. Поэтому по дороге из Иокогамы в «Сателлит», спросив партийного разрешения у своего секретаря, Юзеф стал подбивать на совместное проживание Р., приведя ему перечисленные мотивы.

В этом была некоторая логика, так как мы с Юзефом однокурсники по Ташкентскому театрално-художественному институту имени А.Н. Островского, вместе начинали актерскую карьеру в Ташкентском театре и именно я посылно споспешествовал его приходу в Большой драматический. Те, кто видел наш знаменитый спектакль «История лошади», несомненно запомнили Юзефа в роли кучера Феофана и великолепное музыкальное трио «На Кузнецком узком на мосту», которое он исполнял вместе с Басилашвили и Лебедевым.

Не успел я согласиться с логикой расселенческих рассуждений Мирона (то есть Мироненко), как возникло внезапное сообщение о чуть ли не всеобщем попадании в «одиночки» – «Сателлит-отель» сбил подготовленную начальством линию «гражданской обороны» за счет обилия одноместных и противоестественного (для нас) дефицита двойных номеров, – и я, бесстыдный отщепенец, забыв о корпоративной этике, не смог скрыть своего животного ликования.

Потому что, прежде чем Р. завоевал священное право занимать на гастролях отдельный номер, он прошел большую школу испытаний на совместимость с Григорием Гаем, Михаилом Волковым, Изилем Заблудовским и Юрием Изотовым...

Гай, например, заботливо учил Р., уходя из номера, обязательно гасить свет...

Но вернемся к загадочному разговору Юзефа с японским пришельцем.

Итак, Юзеф позвонил переводчице Маргарите, красивой и приятной блондинке, которая уже спала или готовилась ко сну, что совершенно не меняет дела; для того чтобы выйти из номера и спуститься в холл, ей понадобилось время, в течение которого неизвестный и Мирон хранили терпеливое молчание, проникаясь друг к другу необъяснимой симпатией. С появлением красивой Маргариты дело стало принимать соблазнительный оборот. Зажигательно повторенный пришельцем монолог в переводе с японского имел следующее содержание:

– Я – директор фабрики ковров, – сообщил таинственный гость, частично переставая быть таинственным, но продолжая еще больше интриговать. – Дела на моей фабрике идут очень неважно из-за непосильной конкуренции с ковровыми монополистами. Поэтому, а также по причине давней симпатии к русскому искусству я хочу сделать вашему театру выгодное предложение о покупке японских ковров...

Маленький фабрикант обещал, что даст возможность каждому выбрать именно тот ковер, о котором он мечтал всю предыдущую жизнь, даже не догадываясь об этом, и предлагал Мирону возглавить создание ковровых списков. Только вручив нам ковры и полностью завершив напоследок доброе дело, он позволит себе окончательно разориться и пасть под ударами монополистических гигантов. Как только Юзеф составит список, маленький хозяин разместит заказ на своей гибнущей фабрике, а когда мы вернемся в Токио из триумфальной поездки по островам Сикоку и Кюсю, ковры будут полностью упакованы и готовы к отправке на материк.

– А почему ковры-то? – глуховато спросил Юзеф.

Неизвестный отчаянно махнул рукой и, сдерживая слезы, сказал:

– Юзико-сан!.. Ковры среднего роста – три на два метра – я отдам по семьдесят пять, а ковры большого роста – четыре на три метра – по сто долларов... Можно платить иенами тоже...

Переведя эту фантастику на русский язык, Маргарита Коробкова спросила Юзефа:
– Боже мой, почему так дешево?! – но свой вопрос переводить обратно на японский почему-то не стала.

Читателю, не пережившему наших времен, нужно объяснить, что ковры являлись в Советском Союзе еще большим дефицитом, чем продукты питания, а главное, стоили на несколько порядков дороже смехотворной суммы, которую назвал прогорающий японец. Любители ковров записывались в самодельные списки и годами ожидали при магазинах своей очереди, а жители среднеазиатских республик, чье жилье просто немыслимо без этих традиционных украшений – чем больше в доме ковров, тем он красивей и богаче, – совершали за ними специальные охотничьи наезды в обе столицы...

Поэтому выросший в Ташкенте и потрясенный баснословной возможностью одеть в ковры свое низкооплачиваемое будущее, Мирон счел своим гражданским долгом довести японское предложение до ушей всего академического коллектива. Для этого он был готов даже рисковать. Вместе с Маргаритой он отправился на поздний прием к директору Суханову.

Разбуженный ковровой вестью Геннадий Иванович имел достаточный опыт зарубежных поездок, так как пришел к нам с поста директора Малого оперного театра и хорошо знал, во что могут обойтись несогласованные решения. Поэтому, выслушав взволнованные речи Юзефа и Маргариты, он в свою очередь направился в номер к Анте Антоновне Журавлевой.

Анта Антоновна впустила Геннадия Ивановича не чинясь и приняла ковровый вопрос близко к сердцу. Прогоня сон, она немедленно запросила о встрече еще одного руководителя поездки Юрия Алексеевича (или Александровича), который к сведению японцев представлял профсоюз работников культуры, а к нашему сведению – Комитет государственной безопасности...

Теперь вообразите ночную гостиницу «Сателлит-отель» на окраине Токио, погрузившуюся в тревожный сон ввиду сложнейшей международной обстановки, и скрытое от враждебных глаз движение коврового вопроса... Приняв круговое положительное решение, собравшийся в полном составе штаб получил право выхода на художественного руководителя театра с целью последнего и решительного согласования.

Кто взял на себя ночную отвагу звонить прилетевшему Товстоногову, не скажу, потому что не знаю. Но знаю твердо, что обойтись без его одобрения значило бы исказить законы внутренней жизни театра, и этого не мог не понимать каждый штабник. Так осуществлялся принцип разделения политической и художественной власти в отдельно взятом Большом драматическом театре в нашу, теперь уже историческую, эпоху... Проведя летучее совещание, семейный совет, состоящий из Георгия Александровича, его сестры Нателлы Александровны и ее мужа Евгения Алексеевича, утвердил предложение генерального штаба поездки, и, получив окончательное добро, Юзеф с Маргаритой пошли вниз на встречу с ковровым фабрикантом...

Я не стану описывать символическую и не требующую перевода сцену ночного рукопожатия между высоким и светловолосым Юзефом и малорослым чернявым прищельцем, вы легко представите ее; не стану входить в подробности продолжающегося штабного совещания, на котором рассматривались анкетные и другие данные Ю.Н. Мироненко, с тем чтобы большинством голосов решить: ему или кому-нибудь более проверенному поручить составление списков и сбор наличных средств, но позволю себе перенестись во времени через одни с половиною сутки...

Через одни с половиною сутки дворик «Сателлит-отеля» чудно преобразился: обычное автомобильное его население раздалось и отодвинулось к стенам и углам, давая центральное место голубому фургончику знакомого нашего фабриканта. Вокруг фургончика, беспечно радуя глаз, вольно расположилось цыганское ковровое племя. Гости и впрямь были хороши,

развернувшись плашмя на сером асфальтовом фоне: насыщенно-красные с черными вензелями; светло-желтые с коричнево-алым разводом; ярко-зеленые с неуловимым японским орнаментом; жаркие шары на белом фоне – все они, большие и средние, как сброшенные кимоно, лежали в удачном порядке, составляя единое поле и опьяняюще яркий сюжет. Двор, декорированный будто для спектакля, стал похож на роскошную дворцовую залу...

Между праздничными коврами с озабоченным видом шагали мои дорогие коллеги, стараясь не наступить на царскую роскошь и не ошибиться в прицеле: выбирать можно было по вкусу, а заказывать – не более трех...

– Фантастика, – восхищенно шепнул Миша Данилов.

А Слава Стржельчик, чей выбор был затруднен отсутствием в поездке любимой жены, растерянно бормотнул:

– Это – хулиганство...

Особенно хорошо картинка смотрелась с верхних этажей, и, сделав свой случайный выбор – вот этот, светло-желтого поля, обширный и беспечный, – Р. не поленился подняться наверх, чтобы взглянуть на ковровый базар с высоты птичьего полета.

А в номере 636 телевизор Victor не уставал показывать цветочные венки на серой волне, живой погребальный ковер в память невинно убиенных...

Каждому коврику хозяин присвоил трехзначный индекс: скажем, ковер номер 475, или 348, или, допустим, 432.

Дождавшись очереди к Юзефу, нужно было по-военному четко и быстро напомнить ему свое анкетное Ф.И.О., назвать избранный ковровый индекс, или два, или три индекса, и по возможности без сдачи отсчитать иены, которые с самурайским лицом принимал вдохновленный задачей Юзеф...

Такое же суровое и беспощадное лицо было у него в спектакле Ташкентского театра имени М. Горького, где я играл Гамлета, а он, будучи Лаэртом, врвался во дворец с толпой мятежников и требовал к разделке датского короля...

Это был его час, и все пришли на поклон к Юзефу: Макарова и Трофимов, Басилашвили и Аксенов, Малеванная и Волков, Демич и Толубеев; и Ковель с Медведевым пришли, несмотря на больную руку, и Николаева с Лавровым, и Нателла Товстоногова от имени всей семьи, и целиком доморощенное, и все приданное нам руководство – все стали в затылок друг другу, потому что каждый почел за благо оказаться в бессмертном ковровом списке...

А у нашего посольства толпа разъяренных японцев сжигала алый советский флаг...

Если сегодня пройти по нашим квартирам (ковры еще и дарились, и по бедности кое-кем продавались), то почти в каждой из них на стене или на полу можно встретить сентябрьский пестрый лоскут восемьдесят третьего года, тканый японский ковер имени Юзефа Мироненко.

8

Прилетевший в Токио Гога был нездоров: его мучила давнишняя язва. Каждое утро переводчица Маргарита отправлялась к нему, чтобы на японском языке заказать диетический завтрак и помочь пообщаться с прогорающей фирмой «Сентрал бродкастинг эдженси».

Глава ее, которого одни источники называют господином Хироси Окава, а другие, оставляя ту же фамилию, именуют Ешитери, что более приятно моему языку и слуху, пытаясь скрыть свои чувства, на самом деле был близок к истерике: трагедия, произошедшая с южно-корейским «Боингом», возмутила японскую публику настолько, что она объявила нам бойкот, и билеты на спектакли почти не продавались. Никто и ничто не могло освободить бедного Ешитери-Хироси от обязанности платить договорные суммы арендованным театрам и суточные всем нам...

Думая о гастролях, Товстоногов был готов, кажется, ко всему, кроме этого... Еще в апреле он побывал в Японии с разведкой: осматривал сцены, встречался с театральными людьми, давал интервью, планировал встречи, подписывал договор на издание своего двухтомника. Профессор Икуко Сакураи, специалист по советскому театру, в свою очередь успела слетать в Ленинград, перевести и издать по-японски «Историю лошади» – инсценировку Марка Розовского по «Холстомеру» – со своей статьей о спектакле и Товстоногове. В другой, роскошно изданной к гастролям книге – с твердым корешком, цветными и черно-белыми фотографиями и справками о ведущих артистах – Мастер обращался к будущей публике с прочувствованными словами:

«Дорогие японские зрители! Мы, ленинградский Большой драматический театр, с огромным волнением ждем встречи с вами. Мы везем на ваш строгий и взыскательный суд четыре пьесы четырех великих русских писателей. Мы верим и надеемся, что глубочайшие мысли, моральные и нравственные проблемы, заложенные в этих произведениях, тронут ваши сердца и чувства, воспитанные на великой литературе Японии...»

И вот накануне отплытия происходит другая, без тени театральности, трагедия, жертвенная кровь растворяется в соленой волне, текут неизбежные слезы, и не только Япония, но и весь мир начинает освистывать и проклинать нас как убийц и злодеев. И если посмеешь спросить: «Мы ли в том виноваты?!», получишь твердый ответ: «Вы!..» Именно в эти дни и по этому поводу, с легкой руки артиста Р. – тут имеется в виду не персонаж этой книги, а другой, заокеанский артист Р. по имени Рональд Рейган, – нас стали называть «империей зла».

Вокруг машин толпятся возбужденные люди, с открытых платформ на крышах микроавтобусов через мощные усилители истошно кричат полувоенные активисты: мы должны немедленно убираться домой. Толпа взрывается дружным воплем, митингующих окружают полицейские с длинными дубинками и стальными щитами, а нас, забившихся в красный автобус, кружным путем везут на концерт в христианскую церковь Шебуйя.

Чтобы дать возможность покаяться?..

Или показать свое искусство?..

Чего от нас ждут в христианской церкви Шебуйя? И что в ней ожидает нас?.. Даже Гога этого не знает...

Мы ехали мимо канала с крутым откосом, мимо стоящих вдоль него деревьев, густой травы и кустарника по склонам, мимо белых цапель на берегу...

Крест-накрест висели над водой мостки, и рыба была довольна жизнью так же, как рыбаки, которых не волновала ловля...

Дома косили под старину, а парки забывали о том, что они – японцы. Но мы были посторонними здесь.

Мы ехали мимо огромного города, вдоль старого канала, мимо крутого откоса и веселых папел, а жизнь воды, домов и деревьев была так же безразлична к нам и нашим спектаклям, как и к той кровавой истории, которая случилась над морем, и я не знал, когда решусь подойти и что теперь скажу Гоге...

И он, и мы были рады и встретились как родные, и после щедрых объятий и бодрых поцелуев начался концерт. Не в храме, а в зале при нем, где все-таки собрались местные энтузиасты.

Господи, прости нам грехи наши, вольные и невольные!

Товстоногов поговорил о Станиславском и методе физических действий, Лебедев показал бессловесный этюд о рыболове, который мы знали наизусть, потому что он всегда его показывал... А мы стали играть отрывки из всех четырех спектаклей и, сидя за кулисами, ждать общего поклона.

Гога делился новостями, которые не застали нас на родине. Больше всего его поразило последнее интервью Любимова.

– Такого еще не было, – возбужденно говорил он, – Любимов сказал: «Мне шестьдесят пять лет, я строю театр, а у меня один за другим снимают три спектакля!.. Сколько еще я должен терпеть?! Так больше продолжаться не может, и мириться с этим нельзя!..» Все в таком тоне!.. Как ультиматум!..

Мне казалось, что Товстоногов полон сочувствия к Любимову и целиком на его стороне...

Его слушали почтительно и молчаливо. Лавров, к которому больше других апеллировал Гога, тоже молчал.

И Мастер несколько переменил тон.

– Конечно, Любимов зашел слишком далеко, – рассудительно сказал он. – Он мог жить у жены в Венгрии, там у нее свой дом, и ездить, ставить...

Он опять взглянул на Кирилла, но тот снова промолчал. И тогда Гога не очень уверенно добавил:

– Я уже не говорю о политической стороне...

Читателю, не пережившему наших времен, следует понять, что если кто и молчал в ответ на Гогин рассказ о последнем интервью Любимова, то не обязательно от одного того, что осуждал диссидентские выпады Юрия Петровича или не разделял Гогоного сочувствия опальному режиссеру. Просто вокруг были свидетели – наши, не совсем наши и вовсе не наши, и молчание в таких случаях стоило дороже японской валюты. А ведь у нас была целая группа сопровождения. Не говоря уже о «своих».

Кстати, «своих» знали практически все. И «свои» знали, что их знают. Но это никого не смущало. Это входило в предлагаемые обстоятельства. Товстоногов, как многие умные люди, думал, что «чужих» и «своих» можно хорошо использовать в качестве канала информации. Или, вернее, дезинформации. Поэтому Гога и сказал такую маскировочную фразу, якобы с точки зрения тех, кому интервью Любимова по всем приметам не должно было понравиться: «Я уже не говорю о политической стороне...»

Однажды за границей он отвел в сторону Эдика Кочергина и назвал ему поименно всех, кого, по его информации, следовало остерегаться. А Эдик Кочергин как-то по дружбе назвал их мне. Но я и не подумаю называть имена. И не потому, что не испытываю доверия к читателю, а потому, что это будет уже совсем другой жанр и никому от этого легче не станет. Тем более теперь...

И все-таки, хорошо зная «своих», Гога иногда забывался, потому что ему были необходимы близкие люди и единомышленники. В отличие от Любимова у него не было жены в Венгрии. Впрочем, в Союзе тоже. Долгие годы жизни настоящей жены у него не было...

Со времен «Генриха IV», когда мое детище, роль беспутного принца Гарри, уже на генеральной репетиции была у меня отнята, наши отношения складывались непросто, но именно теперь дело будто бы начинало двигаться на лад.

Потепление возникло после премьеры «Розы и креста», которая подросла к столетию со дня рождения Блока, то бишь в восьмидесятом году.

Неважно, чего это мне стоило. И неважно, ради чего я это делал... Или все-таки важно?..

Ради театра?.. Ради Блока, чью «радость-страданье» испытал на собственной шкуре?.. Или, во что легче всего поверить, ради себя самого?..

Остановимся на последнем: роль Бертрана, «рыцаря-несчастье», поманила артиста Р., и он принялся рыть землю, еще не понимая, что ему сулит эта затея...

Ради Блока или ради Бога... Стоп... Только без рифм!..

По предварительному условию, «Розу и крест» я должен был ставить безо всяких материальных расходов со стороны театра, то есть действительно «ради Бога», именно так, как похоронили несчастного Евгения в «Медном всаднике»...

Зайдя как-то в предбанник перед Гогиным кабинетом, где в прежние времена царственно секретарствовала Елена Даниловна Бубнова, потом – Татьяна Мосеева, в замужестве м-с Т. Чемберс (Лондон, Великобритания), а все последние годы – талантливая и эксцентричная Ирина Шимбаревич, я увидел Мастера, одиноко восседающего на месте собственного секретаря.

Оценив ситуацию, я совершенно серьезно попросил *Гогу* доложить *Товстоногову*, что артист Р. давно ждет, когда наконец Георгий Александрович позовет его поговорить о Блоке; время идет, и юбилей не за горами...

– А вот я вас зову, – хмыкнув, сказал Гога и, встав с секретарского места, растворил передо мной заветную дверь. – Садитесь, – сказал он, когда мы вошли, и, закулив очередную сигарету, в убедительном монологе развернул передо мной жуткую картину финансово-экономической катастрофы, в которую ввергли театр последние постановки.

Неисправимые бреши в бюджете пробили, оказывается, не только дорожавшие по мере пошива шикарные костюмы к «Волкам и овцам» по эскизам Инны Габай, жены Эдика Кочергина, но и разнокалиберные цельнометаллические трубы, которые подвешивали к колосникам по эскизам самого Эдика. Трубы оснащали и повышали образную патетику юбилейного спектакля «Перечитывая заново», в котором, по идее Г.А. Товстоногова и Д.М. Шварц, соединились ударные фрагменты из произведений разных авторов, в течение всех советских лет рисковавших вывести на сцену или показать на экране образ вождя. Потому что прежде чем отмечать столетие со дня рождения одного из основателей первого советского театра А.А. Блока, нужно было отметить столетие со дня рождения основателя первого советского государства В.И. Ленина. Не было бы Ленина – не было бы государства, не было бы государства – не было бы у него и первого театра. Тут, как говорится, «у матросов нет вопросов...».

Но этого мало. Препятствием к материальному обеспечению «Розы и креста» оказывалось то неоспоримое обстоятельство, что производственный план 1980 года был практически выполнен, а все его лимиты исчерпаны. Тем более что включенный в этот план югославский режиссер Мирослав Белович (ударение на первом слоге), повторявший на нашей сцене свой белградский спектакль по пьесе Марина Држича «Дундо Марое», написанной монахом-расстригой в 1550 году, тоже размахнулся на дорогущую сценографию и пышные костюмы.

– Таким образом, – заключил Георгий Александрович, – как вы понимаете, Володя, блоковская постановка возможна только, что называется, за зарплату.

Имелось в виду, что режиссерский гонорар мне не грозит. Но это меня не пугало. Хуже было другое.

Я кивнул, давая понять, что общая ситуация ясна, и после скромной цезуры констатировал:

– Итак, ни на художника, ни на композитора денег нет.

– Нет ничего, – довольный моей понятливостью, сказал Гога.

«Из ничего не выйдет ничего», – заметил Шекспир, но я не стал произносить вслух афоризм трехсотлетней давности.

К этому моменту я непредусмотрительно встретился с Валерием Гаврилиным, прочел ему пьесу и поделился замыслом.

– Весна – это такое сумасшествие, – задумчиво сказал он. – Может быть, четыре гавайские гитары?.. Электро... Такое сумасшествие, Господи! Конечно, это надо делать...

Но так как денег на Валерия Гаврилина и гавайские гитары у театра не было, Гога о нашей встрече не должен был знать, и кандидатура Гаврилина автоматически отпадала.

– Может быть, предложить бесплатную работу по костюмам Ольге Саваренской? Художница начинает карьеру, и о ней хорошо отзывается Эдик Кочергин, – вопросительно произнес я.

– Да, но только не от имени театра, – ответил Мэтр, – предложите ей внеплановую работу, быть может, ее привлекут обстоятельства престижа.

Я понимал, что лезу в петлю, но только обстоятельства юбилея давали тихую надежду на будущее, потому что в наши времена слово «юбилей» имело магическое действие на всяких, в том числе даже и на партийных, чиновников. Важно было по наполеоновскому принципу ввязаться в бой, а там видно будет...

– А с актерами вы поговорили? – спросил Гога.

Имелось в виду, что и актерское участие в репетициях должно было быть практически добровольным.

– Я не приступал к распределению до встречи с вами, но, очевидно, могу рассчитывать на Заблудовского, Мироненко, Данилова... На себя, – сделал я предварительную заявку.

– Ну, эти не откажутся, – согласился он.

Так я зарезервировал за собой рискованное право и ставить, и играть.

С этого дня мы встречались более или менее регулярно.

9

– Черт меня дернул дать интервью «Советской России»! – сказал Р. Юре Аксенову, сидя на низкой скамейке среди тропической зелени детского парка Каракуэн. Они только что вернулись из пешего похода по Акихабаре, большой торговой улице, отнимавшей у бездельного коллектива деньги и силы. Прежде чем браться за консервы, хотелось отдышаться на японской природе.

– Да, – согласился Аксенов, – это было непредусмотрительно с твоей стороны.

Р. продолжал готовить себя к разговору с Гогой...

Сравнительно недавно в «Советской России» появилась на редкость ругательная статья о БДТ молодого критика Ирины Вергасовой, которая привела в ярость нашего Мэтра. Он даже куда-то звонил и на чем-то настаивал, мгновенно назначив газету и критика «врагами номер один».

Молодой театровед Вергасова была хороша собой и еще с институтских времен известна в художественных кругах как девушка андеграундная и эксцентричная. По рассказам очевидцев, она могла появиться на занятиях чуть ли не наголо стриженной, в редкой сетке на голое тело: сквозь отверстия сетки эпатирующей двустволочкой выстреливали оба соска.

Ирина Вергасова откровенно не принимала ничего академически выверенного, житейски благополучного и признанно государственного. Этой ее ориентацией и воспользовались недоброжелатели из газеты, чтобы нанести коварный удар якобы не по идеологии, а по эстетике Большого драматического...

– Расскажи Гоге, пока тебя не опередили, – напомнил Юра, – и учти, что после «России» была «Правда»...

И правда. После на редкость ругательной статьи Вергасовой в «Советской России» появилась на редкость хвалебная статья Строевой в «Правде», а в статью Строевой в «Правде» специальным попечением был введен на редкость ругательный абзац про «Советскую Россию» и Вергасову. И поскольку «Правда» являлась центральным органом Центрального Комитета, то Георгий Александрович мог считать честь театра восстановленной, а себя удовлетворенным. Но Гога этого случая не забыл.

И вот, не учтя всех обстоятельств или из алчного желания славы, Р. поделился с корреспондентом враждебного органа своими незрелыми мыслями, и теперь любой недоброжелатель уже по одному факту данного интервью получал возможность представить артиста Р. изменником и перебежчиком в стан врага...

Вступив на скользкий путь режиссуры, нужно было освоить такой предмет, как театральная политика, которая совершенно сродни политике государственной и даже международной, и, если бы не советы Юры Аксенова, на которые он не скупился в Японии, я бы, конечно, чего-нибудь наворотил. Но Юра даже репетировал со мной будущие диалоги с Мэтром, играя его роль и подсказывая мои возможные реплики.

В диалогах с Аксеновым даже мне, дураку, стало ясно, что лучше бы этого интервью было не давать. Хотя, конечно, еще бы лучше эксцентричной Вергасовой своей статьи вовсе не печатать. Велась же с ней профилактическая работа.

– Зачем тебе брать БДТ? – спрашивала Ирина Шимбаревич, ее однокурсница, целиком посвятившая себя театру и Мастеру. – Это же не твой театр!.. Твой анализ ничего БДТ не даст, никакого блага... У тебя острое перо, пиши о подвальных студиях, пиши об униженных и обиженных, о тех, кто тебе нравится... Тебя оскорбляет не эстетика, а уровень жизни...

– Я на это смотреть не могу, – отвечала непримиримая Вергасова, имея в виду всех нас. – Адреналин выделяется...

У Товстоногова тоже начал выделяться адреналин, потому что наш импресарио господин Ешитери Окава по причине зрительского бойкота в Токио никак не мог принять решения о начале гастролей и, более того, вознамерился прекратить выплату суточных. Возможно, его смущали моральные обязательства перед японской общественностью или кто-то оказывал на него скрытое давление, но главное, стоило ли открывать занавес в огромном зале «Кокурицу Гокидзё», где дает свои представления знаменитая труппа кабуки, если на наши первые спектакли продано всего по тридцать-сорок билетов?..

Когда слух о намерении г-на Окавы прекратить валютные поступления в карманы гастролеров достиг ушей Товстоногова, он не на шутку рассердился и сказал, что это – саботаж.

О его реакции доложили бедному Ешитери.

Тогда он приехал к Гоге и, перестав сдерживаться, заплакал крупными слезами. Рыдая, он через переводчицу Маргариту поведал о том, какие страшные убытки терпит фирма и насколько она близка к настоящему разорению.

Вообще это было не очень по-японски, потому что плакать взрослым мужчинам на островах Хоккайдо, Хонсю, Сикоку и Кюсю не положено, но дело зашло так далеко, что Ешитери ничего не мог с собой поделать и на глазах у Гоги, Анты и Маргариты всхлипывал, как маленький ребенок. Собравшиеся стали утешать Ешитери и обсуждать, чем ему можно помочь.

Наконец решили звонить в посольство и все вместе отправились к чрезвычайному и полномочному послу СССР в Японии В.Я. Павлову. И уже вместе с Павловым принялись названивать в Москву, в Госконцерт и Министерство культуры с просьбой, во-первых, разрешить показ одного из спектаклей по японскому телевидению без дополнительной оплаты Госконцерту, что даст возможность г-ну Окаве хотя бы частично покрыть безнадежные убытки, а во-вторых, в срочном порядке выделить ему дозу советского цирка и порцию «Большого балета», ибо только с их помощью бедный Ешитери мог поправить свое отчаянное положение. О цирке обещали подумать, и разрешение на одноразовый безвозмездный телепоказ было дано...

Но мы с Аксеновым этого еще не знали. Мы сидели на лавочке в детском парке Каракуэн и, как заведенные, толковали о тайных пружинах управления театром и умении себя вести.

– В чем ошибка Вадима Голикова, почему его не приняли в Комедии? – спрашивал Юра и рассудительно отвечал: – Потому что руководить театром – это другая профессия, отличная от профессии режиссера... Вообрази сцену... В Комедии идет репетиция, в зал входит директор театра Янковский, смотрит на декорацию и говорит: «Это оформление плохое, оно не пойдет». А Вадим отвечает: «Михаил Сергеевич, выйдите вон из зала!...» А Янковский тут же Вадиму: «Я вас увольняю!...»

– Здорово.

– Да, здорово, – согласился Юра. – А требовать от худсовета звания для жены? У нее же нет театрального образования... Худсовет отказывает, и Вадим вступает в конфликт с худсоветом.

– Жена есть жена, – сказал Р. словами Чехова и спросил: – Может быть, там все не так просто?

– Может быть, – сказал Юра. – Но главный режиссер должен понимать, к чему ведут его поступки. Зачем наживать себе врагов? Они и сами найдутся.

Мы помолчали.

– Я могу руководить театром, – твердо сказал Юра и открыл свои методологические тайны. – Во-первых, нужно выбирать хорошие пьесы, во-вторых, приглашать других режиссеров... Нужно организовать работу театра... Я не обсуждаю постановки Вадима, он – человек талантливый, но он не организовал работу театра, понимаешь?..

– Понимаю, – сказал я. – Понять несложно. Сложно организовать работу... И хорошо поставить... Поставить, по-моему, самое сложное...

– Это другой вопрос, – сказал Юра, рассматривая большой черный мотоциклетный шлем, который он только что нашел под кустом в детском парке Каракуэн. Японский мотоциклист, носивший эту каску, видимо, пару раз налетал головой на столбы, но она сохранила ему жизнь и сама неплохо сохранилась. По-моему, Юра задумал взять ее в Питер. Если подновить краску на шлеме, он мог вполне пригодиться для нескольких лобовых встреч с нашими столбами...

Здесь же, и не откладывая, необходимо внести существенные добавления, так как сведения о В. Голикове и его взаимоотношениях с директором и коллективом, полученные в парке Каракуэн, могли иметь односторонний характер. Известно, что приход нового главного режиссера – крупнейшее событие в жизни всякого театра, и театра Комедии в частности. Поэтому многие его старослужащие теоретически должны были искать и находить Юру Аксенова, с тем чтобы во имя своего светлого будущего засвидетельствовать ему свою изначальную преданность и навешать на уши полновесную домашнюю лапшу.

Поэтому, вернувшись на материк, автор решил перепроверить информацию и задал прямые вопросы о двух вышеупомянутых эпизодах непосредственно Вадиму Голикову. Действительно, отношения Голикова с им же приглашенным Янковским вскоре после начала совместной работы стали портиться и испортились вконец, но, по словам самого Вадима, они никогда не были настолько вульгарны и анекдотически примитивны. А все диалоги, даже самые острые, велись в абсолютно корректной и цивилизованной форме. Задать тот же вопрос самому М.С. Янковскому у автора нет никакой возможности по самой жестокой и непоправимой причине.

Что же касается жены Вадима Милочки Оликовой (ее сценический псевдоним – усеченная на одну букву фамилия мужа Голикова), то в действительности был лишь один эпизод, когда в числе других претендентов она была представлена – не к званию, нет! – а всего лишь к увеличению зарплаты на пять или десять рублей, что привело бы ее к счастливому переводу в более высокую актерскую категорию, причем в момент голосования именно ее кандидатуры Голиков демонстративно и принципиально покинул заседание худсовета, что и привело к вполне демократическому завалу Милочки Оликовой и непредоставлению ей искомого повышения ставки. Конечно, Вадим и здесь поступил как интеллигент, что вызвало нарекания друзей и знакомых, назвавших его поступок идеализмом и глупостью.

Но на этих двух примерах (директор Янковский и жена Милочка) мы снова могли проследить, как незначачие события театральной жизни в устах заинтересованных лиц легко превращаются в анекдот или даже в легенду. Поэтому автор и стремится всякий раз передать объем и воздух события, если и не приводя весь путь от факта к апокрифу, то давая хотя бы его исходную и заключительную стадии.

– Понимаешь, Володя, – наставлял меня Юра Аксенов еще на «Хабаровске», пригнув голову и стаскивая с себя свитер в тесной каюте четвертого класса, – Гога должен узнавать о тебе только от тебя самого!.. И о Пскове, и о Ташкенте. – Имелось в виду то, что к этому моменту Р. были предложены две постановки, и он собирался просить разрешения на обе. – Ты же знаешь, как ему могут преподнести самый безобидный факт?..

– Знаю, – вздыхал я, ожидая своей очереди на раздевание в камерном кубрике.

Мы оба пытались заглянуть в наше вероятное будущее, которое, несмотря на Японию, было скорее темно, чем прозрачно. Во всяком случае, у меня.

– Я ни о чем не жалею, – говорил Юра, осторожно укладывая свою крупную плоть на узкий матросский рундучок, – но театр я мог получить десять лет назад. Да, лет десять, не меньше...

– Зато у тебя опыт, – слабо возражал Р., балансируя на одной ноге и борясь с узкими джинсами, – ты столько ездил, столько с ним работал...

Если бы Юра не был назначен на высокую должность и не уходил бы от нас, он ни за что не стал бы откровенничать со мной, а только молчал бы, как сфинкс, и улыбался. Но он уходил, и ему хотелось подвести какие-то итоги.

– Главное, я его ни о чем не просил, – сказал Юра, – он всегда сам вызывал меня. Вызывал и предлагал работу...

А мне предстояло просить. Причем просить особого положения. Чтобы уехать на две недели или хотя бы на десять дней, нужно было сперва добиться, чтобы расписание спектаклей было составлено в мою пользу и мои коллеги играли бы за меня.

«Мало того, что артист занимается не своим делом, он и подрабатывает на стороне, а мы должны пахать за него. С какой стати?..» – конечно, таких рассуждений было не избежать, но, с другой стороны, театр всегда шел навстречу артисту, если ему выпадала хорошая роль в кино. И расписание составлялось гибко. Смотря чьи интересы учитывались...

– А рекомендовать тебя главным режиссером Комедии ты Гогу не просил?.. Это он помог тебе с театром Комедии?

– Да, – сказал Юра. – Но мог бы сделать это гораздо раньше...

«Хабаровск» мелко подрагивал и напрягался. В каюте было жарко, и, глубоко вздохнув, Аксенов пояснил:

– Без Гоги в городе театра бы не дали. И Владимирову театр устроил Гога... И Корогодскому... И Агамирзяну... И Голикову... И Падве...

– И тебе, – напомнил я.

– Да, и мне, – теперь уже довольно согласился Юра. – Обком почти никогда без него не решает, какой кому театр отдавать...

– Кроме Александринки? – уточнил я.

– Да, кроме Александринки, – подтвердил Юра. И добавил: – Расскажи ему об интервью. Не давай себя опередить... Спокойной ночи.

В темноте, за тяжелой волной, медленно и навсегда уходил от нас остров Осима.

Теперь Гога был с нами, и жизнь всем скопом, без спектаклей и репетиций, в атмосфере тревог и неясности, в виду сотен тысяч обещанных иен и тьмы японских возможностей казалась невиданным приключением и рождала чувство лунной невесомости. А тут еще скорбящая фирма надумала показать нам новооткрытый Диснейленд. Двумя группами нас повезли на берег моря, где сначала был создан насыпной полуостров, а потом на отвоеванном у воды пространстве раскинулась сказочная страна.

Вторая группа, не помещаясь в автобус, позавидовала первой, а первая осталась на второй сеанс. Но именно здесь, в выдуманном мире, среди искусственных прерий и рек, гор и водопадов, железнодорожных станций и индейских поселков, салунов и лачуг, дворцов и замков, среди ковбоев и горилл, гоблинов и призраков, волков и кроликов, слоняясь в толпе веселых туристов и беззаботных детей под флагом бессмертного Микки-Мауса, Р. безвольно уносился назад, к цепким обстоятельствам предотъездных дней.

У космического павильона, оказавшись рядом с Нателлой Товстоноговой, которая знала о нашей жизни если не все, то очень многое, я обратил к ней сверлящий меня вопрос: кто же из доброхотов догадался рекомендовать меня и Стржельчика в список доблестного антисионистского комитета?

– По-моему, мы никаких поводов не давали, – сказал я.

– Это не в театре придумали, – уверенно сказала Нателла и, конспиративно оглянувшись, добавила: – Но говорить об этом никому не надо.

– Но вы-то знаете, – сказал я.

– Знаю, – сказала Нателла. – И знаю, что вы отказались. Но вам в любом случае лучше молчать.

– Хорошо, – сказал я, – но они-то молчать не будут.

– Будут, – убежденно сказала Нателла. – Вот если бы вы согласились, они стали бы говорить.

Это было логично. Недаром Гога советовался с сестрой.

– Может быть, – сказал я, – но, черт побери, до сих пор противно!..

– Не чертыхайся, – сказала Нателла. – И выбрось это из головы...

Я, конечно, понимал, что в великом театре Уолта Диснея о таких вещах лучше не думать, что здесь и сейчас надо попробовать отключаться от глупостей, но впасть в детство мне никак не удавалось.

У горных каньонов меня взял под руку Рома Белобородов. Оказалось, что и он осведомлен об отказе и советует мне по возвращении на родину вместо антиссионистского комитета вступить в Коммунистическую партию.

– Сейчас – самое время, – сказал Рома, а веселый Микки-Маус, оказавшись тут как тут, поочередно пожал наши руки. Можно было подумать, что он поздравляет меня с новым заманчивым предложением.

– Почему сейчас? – спросил я.

– Потому что пришла новая разнарядка, и нас просят принять десять призывников. – Теперь с нами здоровался улыбчивый заяц, и его манеры были безупречны. – Все легко пройдут, а вы – тем более...

Роман был спокойным человеком и никогда не повышал голоса. Молодой, профессионально подготовленный, он был уверен в себе и по-настоящему перспективен. Рано или поздно он мог стать даже директором, если бы кадровики закрыли глаза на его пятую графу.

– Вы ведь не ребенок, – сказал Роман, и я вынужден был с ним согласиться. – Вы должны понять, что это расширит ваши перспективы, особенно режиссерские... Посмотрите на Кирилла Юрьевича. Разве ему как актеру мешает то, что он – член партии, а теперь и член ЦК?.. Нет, не мешает. А помогает это ему?.. Думаю, да. Вот и вам это никак не сможет помешать, а, наоборот, поможет...

– Спасибо, Рома, – сказал я, – может быть, вы и правы. Знаете, когда был жив Ефим Захарыч Копелян, он соседствовал в гримерке с Лавровым. И вот однажды они сидят друг к другу спиной, а в зеркалах им видны лица друг друга. Копелян смотрел, смотрел и вдруг говорит: «Да, Кира, мне бы твой нос, я бы такую карьеру сделал!..» Мне это Зина Шарко рассказывала... Не уверен, что смогу пригодиться...

– Сможете, Владимир Эммануилович, – сказал Роман. – Сейчас нужны именно такие люди, как вы. И если вы вступите в партию, то отказ от антиссионистского комитета не будет иметь значения...

– Рома, – сказал я, – неужели вы говорите серьезно?

– Какая разница, Владимир Эммануилович, серьезно я говорю или нет? Отнеситесь к этому философски...

Тут я заметил переводчицу Рику и предложил ей прокатиться со мной по «Замку призраков». Русского языка она почти не знала, но была так молода и хороша собой, что мне показались смешны американские страшилки, и мы с Рикой принялись хохотать, скользя на двухместной вагонетке мимо разверзающихся могил, пляшущих скелетов и отрезанных женских голов.

Очевидно, не я один так устроен: чужие ужастики просто смешат нас, а свои призраки до ужаса страшны...

10

Чтобы отвлечь Гогу от черных мыслей и скрасить тоскливое ожидание, Ешитери организовал Мэтру несколько платных лекций о театре в Нагое, Осаке и где-то еще. С одной стороны, все знали, что Мастер откладывает деньги на «мерседес», а с другой – кто лучше него может объяснить японцам, что такое метод Станиславского?..

Гога вернулся в Токио, несколько повеселев, и во время концерта в газете «Асахи» я рискнул провести с ним первый диалог, неукоснительно следуя наставлениям старших товарищей.

– Георгий Александрович, – заинтересованно спросил я, – как прошли ваши выступления?

– Хорошо, Володя, – откликнулся он, – но очень устал: душно, влажно...

– Вы рассказывали им про систему Станиславского? – продолжал интервьюировать я, готовя признание о своем интервью «Советской России».

– По-разному, – сказал он, – я не люблю говорить одно и то же. Где о системе, а где о нашем театре...

– А о «природе чувств» вы рассказываете? Я недавно перечитал вашу статью.

Мне всегда казалось, что литературные «негры» и научные редакторы ужасно сушат Гогину речь, темнят язык, и его статьи и книги не идут в сравнение с любой репетицией, где он всегда выступает живо и выразительно, но этого говорить было нельзя.

– Вам нравится? – серьезно спросил Гога, и Р., не погрешив против совести, серьезно ответил:

– Да, «природа чувств» – самая больная тема сегодня.

– Вы правы, – сказал он.

– Это вы правы, – искренне сказал я и круто сменил галс. – Вы, наверное, не обратили внимания до отъезда... Дело в том, что ко мне приходили за интервью из «Советской России»...

Мгновенно изменившись, Гога страстно перебил:

– Я бы не стал им давать!

– Да, Георгий Александрович, – подхватил Р., словно именно это имел в виду, – я тоже удивился, чего это они?.. А потом подумал: может быть, после выступления «Правды» они как бы заходят с фланга, чтобы наладить отношения? Идут на попятный, а непосредственно к вам подойти боятся...

– Ах так? – переспросил Гога уже заинтересованно, и я стал развивать свою версию:

– Я сказал корреспонденту, что вряд ли они напечатают, а он ответил, что с начальством все договорено и даже дан карт-бланш... И тогда я сказал о «Розе и кресте» и о том, что репетиции Товстоногова – школа современной режиссуры... По-моему, они идут на попятный, – повторил Р.

– Да, исправляются, – довольно подтвердил он. – Это хорошо. – И многозначительно добавил: – И хорошо, что вы сказали...

Посмотрев прогон «Розы и креста», Эдик Кочергин сказал:

– Может получиться. Только... с костюмами из «Генриха» я спектакль не подпишу...

Подбор не годится...

– Ну вот, – сказал я, – как же тогда может получиться?

– Ты учти, – сказал он, – костюмы из его спектакля. Он к этому относится ревниво.

– Что ты предлагаешь? – спросил я.

– Надо заставить их раскошелиться! – сказал Эдик, достав карандаш. – Я за день могу сделать чертеж... Так... Стол, да?..

И он стал набрасывать на белом листке, который догадливо положил перед ним помреж Витя Соколов.

– Теперь... Табуреты, да?.. Вот такие... И спинки к табуретам, вставные, да?.. Вставки вот такие, видишь?.. Теперь подсвечники, да?.. Как трезубцы... Видишь, уже стильно, да?.. Костюмы возьмем простые... Во-первых, свитера, да?.. Шарфы... Теперь... В табуретах отверстия для мечей... Ручки – крестовые. Мечи как кресты, да?.. Вставим их в табуреты... Плащи, да?.. Мечи стоят тут же, плащи висят тут же... Вот так... Тысячи за полторы можно это сделать. – И он бросил карандаш на готовый рисунок. – Я пойду к Гоге и попробую его развернуть против директора...

– Здорово! – сказал я. – Но верится с трудом...

– Посмотрим! – грозно сказал Эдик.

Но первый разговор с администрацией – до Гоги Эдик не дошел – ни к чему не привел. Вернее, привел к тому, с чего все и начиналось: необходимо избежать затрат. Уходя с этого свидания, Кочергин заявил, что если ему не дадут сделать то, что он хочет, он спектакль не подпишет. Ситуация выходила патовая, но, учуяв будущее представление, Эдик взгрустнул.

– Понимаешь, Володя, я бы мог сделать еще один хороший спектакль, – стал размышлять он. – Жалко терять возможность.

– Понимаю, – сказал я, – а мне не жалко?

Тогда он сказал:

– Вообще-то можно заказать мебель рабочим как халтуру... Они сделают нормально, но им надо заплатить, понимаешь?

– Понять нетрудно, – сказал я.

– Работа может обойтись рублей... Ну, в полтора-двести... Если дадут материалы... Стол – тридцать пять, да?.. Это я беру на себя... табуретки, скажем, по червонцу, да?.. Штук двенадцать...

– Двенадцать – мало, – сказал я, – народу-то больше...

– Ну, шестнадцать... да?

– Эдик, – сказал я, лелея в груди возрождающуюся надежду. – О чем разговор? Что Бог пошлет – отдам...

– Ну вот, – сказал он, – тогда попробуем таким путем... Не мытьем, так катаньем...

– Конечно, – сказал я. – «Розу и крест» вообще никто не видел. Нет, вру. В Костроме в двадцатых годах несколько раз прошла... Мы будем – вторые.

– Да? – спросил Эдик.

– Да, – сказал Р. и добавил: – Юрий Бонди ставил и оформлял, брат Сергея, пушкиниста... У меня с братьями Бонди опять одни интересы: сначала – «Русалка», теперь – «Роза и крест»...

– Ладно, – решил Эдик, – к Гоге вместе пойдем.

Когда мы «взошли» в кабинет, у Мастера был Саша Гельман. Гога был благодушен, и мы внесли свое предложение.

– А что?.. Скинемся! – весело сказал Мэтр. – Я тоже участвую. – И, показав на нас Саше Гельману, добавил: – Вот какие люди у нас в театре!.. Не перевелись!..

Но тут Эдик сказал:

– В этом случае я подписываю спектакль, и он мне засчитывается в норму, да?

– А-а-а! – громко и обрадованно протянул Гога. – Вот оно что!.. А я думал, что вы абсолютно бескорыстны!.. Но зато это – честное признание!..

И все засмеялись...

Занятый в «Розе и кресте» Женя Соляков как член профкома пообещал разбиться в лепешку, но обеспечить участие в складчине профсоюзных средств из графы «на культуру».

– Деньги «на культуру» пустим «на халтуру» и оформим «Розу и креста»!.. – спел он на какой-то одесский мотив.

Однако, узнав об этих планах, Суханов заявил Гоге, что не может допустить, чтобы творческие люди во вверенном его руководству БДТ скидывались на левую работу. Поэтому он предлагает нанять и оформить на пару сотен рублей какого-нибудь человека со стороны, который передаст деньги тем рабочим из наших мастерских, которые будут делать мебель по чертежам Эдика. Таким образом, Геннадий Иванович рисковал и даже шел на должностное преступление, чтобы сделать благородный вклад в юбилейный блоковский спектакль.

Однажды, выходя от Гоги, я столкнулся с директором и завпостом Кувариным. У них были решительные лица, и завпост, не успев плотно закрыть за собой дверь, тут же выглянул из кабинета и позвал меня за собой. Его тон мне не понравился.

– Садитесь, Володя, – строго сказал Гога и, повернувшись к Кувариному, добавил: – Я слушаю.

– Георгий Александрович, – сказал Куварин официальным тоном, – я поговорил с Кочергиным. Оказывается, у него по «Розе и кресту» десять позиций. Он хочет строить новые станки, покрывать сцену линолеумом, красить все в черный цвет, чертить и заказывать мебель и так далее... Мы тут подсчитали, во что это обойдется, – Володя повернулся к директору, и тот, поджав губы, кивнул, – получается три тысячи рублей...

Очевидно, цифра представлялась убийственной, а взрывная реакция Товстоногова – неизбежной.

Я понял, что атака была подготовлена: по плану ни я, ни Кочергин не должны были участвовать в сцене. Подтекстом наступающей стороны было глубокое возмущение несоблюдением предварительной договоренности обнаглевшим Рецепттером. Ему, мол, была разрешена постановка *безо всяких затрат*, а он, столкнувшись с Кочергиным, хочет запустить руку в театральный карман на целых три тысячи!.. Хорошо, что в театре есть люди, которые не допустят беспочвенных посягательств...

Вообще-то говоря, Володя Куварин, в прошлом фронтовик, потом отличный макетчик, был человек мастеровой и дельный и не случайно вырос при Гоге до положения заведующего постановочной частью. Просто он хорошо усвоил негласное правило: то, что ставит в театре Товстоногов, достойно материальных и трудовых затрат, все же остальное – никак нет. Особенно – Малая сцена и всякие там сомнительные эксперименты!..

К тому же Эдик Кочергин, сценограф блистательный и бескомпромиссный, а человек нервный и фанатический, придя в БДТ главным, стал предъявлять Кувариному повышенные требования и, при поддержке Товстоногова, добивался своего.

В случае с «Розой и крестом» появлялся хороший повод взять у Кочергина реванш: их то скрытая, то явная конфронтация с Кувариным длится, по-моему, по сей день и не имеет шансов окончиться при жизни.

Но главной причиной атаки на «Розу и крест», на тот момент частично поддержанной директором, было, кажется, исторически сложившееся, корневое и в общем естественное нежелание русского мастерового делать *лишнюю* работу.

– Вы же договаривались, что спектакль ничего не будет стоить, – сказал Куварин, не глядя на меня.

И тут произошло чудо.

– То есть как это спектакль ничего не будет стоить? – грозно переспросил Гога, глядя поочередно то на директора, то на завпоста. – Кто это вам сказал?..

В некотором замешательстве, однако и не без твердости в теноре Суханов ответил:

– Это мне сказали вы, Георгий Александрович.

– И мне, – подтвердил Куварин.

Но Товстоногов не дал им опомниться.

– Да, – страстно сказал он, – мы договорились, что не покупаем ничего нового!.. Но это вовсе не значит, что ничего не будет сделано!.. Разве вы не понимаете, что придет зритель, и нужно ему показать СПЭК-ТАКЛЬ, а не халтуру!.. Если у Кочергина есть десять позиций, это значит, что он отнесся к делу всерьез!.. А если он отнесся всерьез, значит, и мы должны подойти серьезно и эти десять позиций ему дать!..

Гога молотил их железной логикой, и ему не потребовалось дополнительных аргументов. На моих глазах с Кувариным и Сухановым происходило чудо преображения, и они принялись кивать ему в такт.

– Ну да, – сказал Куварин, – работу мы сделаем. Ведь она будет засчитана как спектакль?..

– Разумеется, – удовлетворенно подтвердил Товстоногов и добавил: – Ведь если бы цеха не делали этого, они должны были бы делать что-то другое!..

– Конечно! – сказал Суханов.

– Вот видите, – сказал Гога, и действительно все увидели всё гораздо яснее и как бы заново...

Оказалось, что у Володи даже есть наготове отличный план.

– Я думаю так, – сказал он, – двадцать пятого октября на Малой сцене пройдет последний спектакль, после чего мы разбираем старый станок и делаем новый, для «Розы и креста». А когда театр вернется из Венгрии, можно будет уже до самого выпуска репетировать на новом станке.

Видя, что сопротивление полностью подавлено, Гога сменил тон и доверительно сказал директору:

– В министерстве как раз хвалят нас за то, что к блоковскому юбилею у театра будет свой спектакль.

– С кем вы говорили? – заинтересованно спросил Суханов.

– Только вот стол, – озабоченно сказал Куварин.

– Ну, что же? – живо переспросил его Товстоногов.

– Свободен стол только из «Цены», – задумчиво продолжал Володя. – Но на нем же нужно лежать, – и впервые за всю сцену посмотрел на меня.

Тут наконец и Р. подал голос:

– Меня устроит тот стол, который устроит Кочергина. – Моя скромность просто не имела границ. – Кажется, стол из «Генриха» подошел бы. Его можно покрыть скатертью, а если будет длинен...

– Можно укоротить, – с готовностью подхватил Куварин. «Генрих» у нас уже не шел.

– Да, – развивал мозговую атаку Товстоногов, – сначала стол покрыт скатертью, во время читки по ролям, а потом скатерть снимается, и на сцене – средневековый стол!..

– Это очень хорошо, – сказал Суханов, добавляя масла в костер занимающегося творчества.

– Ты скажи об этом Кочергину, – снова обратился ко мне Куварин, увлеченный художественной идеей.

Теперь мы все были единомышленниками и дружно махали крыльями вслед за Вожаком. Теперь-то было ясно, что все мы – одна стая.

Мы были одна стая, но не могли же мы летать всем скопом и, пока никакой работы не было, шастали по японской столице в режиме туристических групп, путая искусственные кварталы. Начальство не то чтобы закрывало на это глаза, но было увлечено собственными задачами, о которых стая не полагалось знать. Но поскольку задачи у всех были пока одни и те же – побольше увидеть и получше отовариться, – получалось, что почти любой знал о каждом и каждый знал почти о любом. В обмене информацией о взаимных успехах и состояли безработные досуги. И хотя одни делились своими открытиями – мол, на станции Хорадзуки распро-

даже шуршащих курток, – а другие предпочитали партизанский молчок, все тайное неизменно становилось явным.

Надо отдать должное патриотизму советской колонии, которая не оставляла нас своим заинтересованным вниманием.

Здесь тоже сказывалось классовое расслоение: «первачей» разбирали посольские чины высоких рангов; артистов поскромней, известных по кино– и телеэкранам, – дипломаты среднего звена, а остальным приходилось ловить случайную удачу или довольствоваться «одинадцатым номером», то есть своими ногами...

Впрочем – из песни слова не выкинешь, – на японском транспорте старались сэкономить многие, стоило однажды обнаружить, какие капиталистические сувениры равняются в цене билету на метро. Несложный подсчет подсказывал каждому, что за сумма у него сохранится, если он отдаст предпочтение пешим походам тридцать, сорок, а то и пятьдесят раз, и любовь к ходьбе приобрела идейный характер.

– Как пройти на Гинзу? – с милой улыбкой спрашивала японского городского актриса А., солидная матрона, пускавшаяся в путь с еще более солидной и возрастной актрисой Б. Вопрос, естественно, задавался с помощью жестов и четкой русской артикуляции, на что японский городской отвечал по-английски, дважды или трижды употребляя опорные слова.

– Это далеко, лучше ехать на метро.

– Сэнкью, сэнкью, – сияла первая матрона, и вторая помогала ей, удваивая северное сияние:

– Сэнкью, сэнкью!

Тут первая повторяла вопрос, помогая себе выразительными руками:

– Гинза, Гинза, это идти так – прямо, а потом – на-пра-во или на-ле-во?

– Плиз, плиз, – говорил вежливый полицейский и показывал прямо: – It is subway, station of subway Kara-kouhen.¹

И на глазах удивленного городского наши дамы устремлялись в сторону, противоположную указанной, продолжая мерить японские версты красивыми в прошлом ногами...

На фоне всеобщей бережливости особенно эффектно выглядели те, кто позволял себе нерасчетливые поступки, например Зинаида Шарко, которая просто потрясала угрюмые сердца некоторых сосъетеров и сосъетерш. Она не только пользовалась городским транспортом, но и покупала в экзотических лавках фрукты, овощи и другие противоконсервные излишества.

– Что у тебя на столе? – устрашающе спрашивала ее одна из постоянных наставниц.

– Салат, – с обезоруживающей наивностью отвечала Зина.

– Нет, это не салат, – грозно одергивала ее оппонентка. – Это валюта!.. Учти!..

А вторая, бегло оглядев жизнерадостный стол Зинаиды, рубила сплеча:

– Ты прожрала и пропила три с половиной пары туфель и десять пар кроссовок!..

– Да ты попробуй, попробуй, как вкусно, – пыталась сгладить идеологический конфликт беспечная Зинаида.

– Нет, ни за что! – отвергала соблазн бескомпромиссная прокурорша и, перед тем как хлопнуть гостиничной дверью, выносила окончательный приговор: – Дура ты, Зинка! Тебя лечить надо! Настоящая дура!..

Вот почему артист Р. испытывал по отношению к Зинаиде чувство восхищения и пытался ей подражать хотя бы отчасти.

¹ Это метро, станция метро Каракуэн (англ.).

Р. не мог жаловаться на судьбу и уже в первое время стал попадать то в «тойоту» Юры Тавровского из журнала «Новое время», то в «ниссан» Юрия Орлова из Совэкспортфильма и успел кое-что повидать: оглушительный рыбный рынок или знаменитый парк Йойоги, разбитый на месте американского аэродрома, где отрывная молодежь осваивала рок и на отдельных пятачках кучковались «Strey kats» или «Dongly boys»...

Тавровский водил в японскую едальню и приглашал домой, в ту самую квартиру, что снимал до него журналист-перебежчик и которую Юра нарочно оставил за собой.

– Что нам скрывать? – задал он риторический вопрос, но перед тем, как мы вступили в его подъезд, предупредил: – Входим в зону активного прослушивания...

И вдруг... Вот оно, счастливое словцо, движитель не одного нашего сюжета: вдруг!.. Как бы долго ни шло к началу наших представлений на Японских островах, оно застигло нас внезапно... Нет, не врасплох, но все-таки...

Господин Ешитери Окава взял себя в руки и наперекор судьбе и несчастным обстоятельствам принял решение гастрولي начинать. В жестокой внутренней борьбе взяло верх начало мужественное и подлинно самурайское, которое до времени таилось в глубинах его загадочной японской души. Сделав резкий выдох и обнажив боевой меч, он подал своей фирме полководческий сигнал «В атаку!»

Между прочим, когда находишься вблизи острова Сикоку, само слово «атака» звучит совершенно по-японски... Доказательство этого – имя молодой японской зрительницы, ставшей впоследствии моей доброй знакомой. Эту трогательную русистку звали Рисако Атака...

Конечно, началу предшествовали согласования с Министерством иностранных дел Японии и полицейским управлением города Токио, выславшим впоследствии на охрану одного русского спектакля до тридцати полицейских, а также с советскими учреждениями: Госконцертом и Минкульту в лице первого зама министра Ю.Я. Барабаша...

Конечно, Ешитери-Хирочи в отличие от нас держал совет и с древними японскими богами, но, получив их согласие, повел себя безупречно. Фирма объявила: «С завтрашнего дня будем всех кормить завтраками». Вместе с сообщением о премьерке это известие вызвало общий энтузиазм, и под компот из персиков, кофе со сливками и сдобные булочки было единогласно решено, что жизнь движется вперед, а искусство по-прежнему вечно.

11

16 сентября 1983 года на сцене театра «Кокурицу Гокидзэ» давали «Историю лошади».

Что такое сорок, ну пусть пятьдесят зрителей, сидящих сиротливой горсткой в огромном, чужом для нас помещении, в сравнении с ленинградским билетным голоданием и горделивой привычкой актеров к переполненному, гудящему, счастливому залу?

Тем заметнее было старание пришедших создать премьерную праздничную атмосферу: и посольские, и японцы – включая группу молодых русисток, знакомых нам по «Хабаровску», – и свободные от спектакля наши были щедрны на аплодисменты...

Рукоплесканиями наградили уже первое явление – выход «цыганского оркестра». Попробуем уточнить. Цыганский оркестр был музыкальным решением спектакля. Воплощали его завмуз Семен Ефимович Розенцвейг в малиновой рубашке, со скрипочкой; выходящий в коричнево-фиолетовой гамме Александр Евсеевич Галкин, с огромным, больше него самого, контрабасом; ударник Коля Рыбаков в ладной бежевой косовороточке, с бубном и прочими причиндалами; и еще двое: светловолосый гитарист Юра Смирнов в желтеньком и Володя Горбенко в ярко-розовом и с баяном; все они были перепоясаны цветными шнурками и выступали в заправленных в сапоги свободных штанах с видом абсолютных любимцев публики.

Ребята работали отлично и держали улыбки, как положено, но в глубине музыкальной души каждого из них оставалась доля некоторого смущения, потому что они чувствовали степень своей театральной условности. Хотя по большому счету национальный состав нашего оркестра вполне соответствовал принятым в подавляющем большинстве цыганских эстрадных коллективов нормам: один украинец, два русских и два еврея.

Особенно тяжело цыганщина давалась Розенцвейгу и Галкину: оба были в солидном возрасте, оба честно прошли войну, причем Галкин, служа в пехоте, был тяжело ранен и приволакивал левую ногу, оба всерьез задумывались о жизни...

У Саши Галкина было мечтательное лицо примерного шахматиста; казалось, что наш пожизненный кандидат в мастера, даже играя на контрабасе, продолжал решать проблемы миттельшпиля, и оттого, что они не давались, в его глазах светилась вечная и известная всему миру скорбь. Именно Галкин был главным долгожителем музчасти: он пришел в БДТ в 1951 году, когда театр держал в штате большой оркестр, состоящий из восемнадцати или даже двадцати инструменталистов, а во главе его был Николай Яковлевич Любарский.

Но, совершая в БДТ свою революцию 1956 года, Г.А.Товстоногов, как помнится Галкину, закрыл оркестровую яму и упразднил оркестр, оставив на развод нескольких, а может быть, только двух музыкантов. В числе оставшихся Саша запомнил себя (контрабас) и Юру Темирканова (скрипка).

Теперь всемирно знаменитый дирижер Юрий Хатуевич Темирканов может при случае с нежностью рассказать о своих театральных началах рядом с Георгием Александровичем Товстоноговым и Александром Евсеевичем Галкиным, а особенно о спектакле «Поднятая целина», где они с Сашей в сцене партийного собрания исполняли туш, а Павел Луспекаев в роли Макара Нагульного, хватая их за грудки, страстно прерывал музыкальный дуэт скрипки и контрабаса.

И все-таки на первых порах в спектаклях Товстоногова музыки было маловато, и однажды заместитель директора Самуил Аронович Такса, один из авторитетных специалистов театрального дела в Ленинграде, вызвал Галкина к себе и предложил ему решать вопрос собственного трудоустройства.

– Понимаешь, Саша, – сказал Самуил Аронович, – ты у нас совсем ничего не делаешь, а зарплату все время получаешь. Это нехорошо. Так мы с тобой в журнал «Крокодил» попадем.

– Разве я виноват? – спросил Галкин и, не получив ответа, вышел за дверь.

Он догадался, что ответ Самуила Ароновича был бы похож на ответ волка ягненку в знаменитой басне Крылова.

Но, узнав об этом разговоре, Копелян, Стрельчик и Юрский пошли к Товстоногову и попросили вступить за Сашу перед Таксой. И не только потому, что Саша – кавалер ордена Отечественной войны, медалей «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и многих других. И даже не потому, что он кандидат в мастера по шахматам. И совсем не потому, что он держит не одну, а несколько сберегательных книжек и ссужает деньги в долг, что называется у его нуждающихся прихожан «попользоваться Сашиной библиотекой». А потому, что, наверное, в планах Георгия Александровича все-таки есть перспектива какого-то музыкального развития.

Оказалось, что музыкальная перспектива есть: скоро композитор Кара-Караев должен дописать музыку к спектаклю «Король Генрих IV», где у Саши Галкина может появиться много ударной работы. То есть работы на ударных инструментах. И Гога предложил Саше временно отложить контрабас, имея в виду вероятность стать исполнителем важной барабанной роли.

Поэтому, когда Кара-Караев завершил создание своей музыки и оказалось, что его партия содержит сложнейшую партию барабана, Саша уже отчасти переквалифицировался и был к этому относительно готов. Долгожданный «Генрих IV» должен был начинаться с появления барабанщика и исполнения им увертюры на двух или трех барабанах. Пока работа шла в репетиционном зале, Товстоногов не обращал на Сашу должного внимания, но как только перешли на большую сцену и он прежде всех пошел к своему месту, Гога остановил репетицию, вызвал тогдашнюю заведующую гримерным цехом Лену Полякову и сказал:

– Лена, нужно срочно что-нибудь придумать, чтобы снять с Саши Галкина его еврейство.

И Лена обклеила Сашу бородой и усами, маскируя его не то под могучего шотландца, не то под упрямого ирландца, но некоторых даже такой сложный грим все-таки не убедил.

В этой связи характерны новые сведения о гастролях 1983-го, полученные от самого Галкина. Оказалось, что, высадившись в Иокогаме, он тоже не избежал нападения японских операторов и репортеров и был вынужден отвечать на их вопросы о южнокорейском «Боинге».

Директор пытался его спасти, советуя на ухо:

– Уходи, Саша, уходи!..

Но следует иметь в виду, что Саша всегда чувствовал себя не только музыкантом и шахматистом, но и солдатом 45-й ордена Ленина гвардейской дивизии и не привык отступать с поля боя. Поэтому гвардеец Галкин, сожалея о случившемся, не преминул сказать японским корреспондентам, что корейский «Боинг» *все-таки залетел на нашу территорию*. И тем же вечером, в Токио, он увидел по телевизору свое задумчивое лицо с неизгладимой печатью еврейской мировой скорби, и титр на английском языке: «рашен мардерс», то есть «русские убийцы»...

Когда «История лошади» закончилась, каждый из пятидесяти зрителей стал аплодировать за десятерых, и у всех участников создалось впечатление полного успеха. Ему способствовало щедрое множество цветов и тот небольшой, но удивительно нежный букет, составленный по законам икебаны, который юная Иосико вручила седеющему скрипачу в малиновой рубашке:

– Багодарью вас, сэнсэй!..

После «Истории лошади» шел «Ревизор», и мне предстоял дебют на японской сцене. Не скажу, что я трепетал от волнения, но и вполне спокоен тоже не был: дебют выходил двойной – впервые в Японии и впервые в «Ревизоре».

Понимаю, как смутятся историки драматического искусства, не заметившие в этой постановке артиста Р. Вижу, как они взволнуются и зашуршат пожелтевшими программками, выводя сочинителя на чистую воду: «Что такое? Когда это Р. играл в “Ревизоре”? Хлестаковщина!.. Не было этого никогда!..»

Так вот – было. И не менее семи раз. В одном Токио – четырежды.

А еще – в Осаке, Нагое и Маэбаси по разу...

Перед отъездом у нас вышел короткий разговор с Гогой.

– Володя, – решительно сказал он, – вы понимаете, что всю труппу мы вывезти не можем. Каждый человек на счету, поэтому я прошу вас кроме «Мещан» выйти в качестве гостя в «Ревизоре»... – И скорбно пояснил: – Вместо Виталия Иллича.

Об этой замене я знал как о деле решенном и сказал:

– Хорошо, Георгий Александрович...

Оказалось, что дело не потребовало больших усилий, и он несколько обмяк.

– Разумеется, это относится только к Японии, в Ленинграде делать этого вам не придется, – сказал он.

Я скромно сказал:

– Спасибо, Георгий Александрович.

После новой цезуры с какой-то неуверенной интонацией он предположил:

– Костюм Иллича должен вам подойти... Мне кажется, вы одного роста, – очевидно, историю с примеркой костюма Гриши Гая ему рассказали подробно.

Упрощая разговор, я сказал:

– Да, Георгий Александрович, этот костюм, думаю, подойдет. – И добавил: – С утра начинаю работать над ролью.

Гога недоверчиво вскинул брови:

– Там нет никакого текста...

– Тем более, – сказал я, – работа сложнее.

Тут наконец он хмыкнул и засопел.

Выступать в пользу Иллича, так же как затевать разговор о Гае, было не только бестактно, но и бесполезно.

– Я рад, что «Мещане» все-таки едут, – сказал Р.

Он живо подхватил:

– Как вы понимаете, я тоже!..

* * *

Читателю, не пережившему наших побед, скажу напрямик: я считал и считаю Большой драматический эпохи Товстоногова лучшим театром всех времен и народов, а «Мещан» – лучшим спектаклем этого художника. Мое заявление, конечно, декларативное и отчасти вынужденное, должно было прозвучать давно и наконец прозвучало во избежание возможных кривотолков, которых невозможно избежать.

Кривотолки были и остаются в театре проверенной принадлежностью, являясь оружием нападения и средством защиты, особенно для тех патриотов, которые не стесняются называть себя именно так в отличие от других, которые почему-то стесняются.

Подобное расслоение происходит и в театре политических представлений, и в самом обществе, очумевшем от неудач, и с каждым годом становится очевиднее, что патриотами в подавляющем большинстве величают себя лица неодаренные или одаренность утратившие, в собственных силах не уверенные, а оттого и развивающие в себе инстинкт стадности и постоянно самоутверждающиеся с помощью визга или обезьяньего поколачивания кулаками в собственную грудь.

И поскольку время от времени возникает общественная опасность кулачного нападения «патриотов» на всех остальных, автор рекомендует последним, то есть остальным, хотя бы из чувства самосохранения запастись парой простых и желательно искренних деклараций на крайний случай. Например: «Я считал и считаю Большой драматический эпохи Товстоногова лучшим театром всех времен и народов...» и т. д.

Конечно, если крайний случай все-таки наступит, декларации никого не спасут, но при этом сохранится слабая надежда избежать хотя бы кривотолков.

Сделав признательное отступление, артист Р., как ему кажется, получает право сообщить читателю, что его любимых «Мещан» в Японии оценили меньше, чем в других странах Европы, Азии и Латинской Америки, и на это была своя причина.

Оказалось, что ни на одном из Японских островов аборигены не имели понятия о конфликте поколений, который так занимает нашу и европейскую публику. Представители японской общественности деликатно объяснили нам, что на Хоккайдо и Хонсю нет и никогда не было конфликта отцов и детей, который из века в век питает воображение русских художников. А на Сикоку и Кюсю воспитание полностью исключало скандальные конфронтации в лоне семьи. Таким образом, наших с Лебедевым, то бишь с папашей Бессеменовым, перебранок японцы не понимали настолько, что один из планируемых спектаклей был даже заменен на «Дядю Ваню», в котором артист Р. действительно никогда замешан не был.

Нет, количества публики замена не прибавила, и сотрудники Ешпитери-Хироси шептались, что в Нагое до сих пор ни один билет не куплен, но факт остается фактом: Антон Чехов со своим «Дядей Ваней» оказался ближе японским зрителям, чем Максим Горький с его «Мещанами», как это ни печально для всего коллектива в целом и для артиста Р. в частности. Поэтому он, видимо, и возмнил, что его участие в «Ревизоре» заслуживает какого-то внимания. Пожалуйста, простите его.

Для того чтобы ступить за кулисы «Кокурицу Гокидзэ», нужно было прежде всего снять уличную обувь и надеть голубые тапочки. В них все опять себе понравились и принялись пошучивать в том смысле, что голубые отлички на мужских ногах наводят женщин на грустные размышления о всеобщем падении нравов, и вообще, мол, разница между голубыми и белыми тапочками не слишком велика. Но были и оптимисты.

– Ну как в музее, – восхищался театром Юзеф Мироненко, примеряя перед зеркалом свою жандармскую каску. Кажется, он играл Свистунова, а может быть, и самого Держиморду. Ах да, вспомнил, Свистунова и Держиморду Товстоногов сложил вместе и разделил на троих, стало быть, Юзеф был и тем, и другим, и еще кем-то третьим...

Помещения для актеров были разгорожены ширмами, и, переодеваясь в костюм Иллича, я чувствовал себя не просто *инопланетянином*, а как бы *инопланетянином не в своей тарелке*.

И правда, все здесь было чужим для Р. – островная империя, здание нового театра, таинственные сигналы, оставшиеся от самого кабуки, общие помещения с легкими ширмами, таблички с иероглифами на дверях и эти голубые тапочки, а главное, чужой спектакль, костюм с чужого плеча и бессловесная роль, пока еще невидимка...

Но костюм и впрямь был как раз, и Р. стал прогуливать его по японскому коридору, принаравливаясь к длинным фалдам партикулярного сюртука и воображая, что же такое – его молчаливый аноним в гостях у городничего. Я взглянул в зеркало, и мне показалось, что оставшийся в Ленинграде Виталий Иллич, подмигивая, указывает на моего соседа.

Рядом приседал, шамкал и жестикулировал Иван Матвеевич Пальму, входя в роль лекаря Гибнера. Я вспомнил, почему шутник Иллич кивал на него.

В числе сыгранных ролей был у Матвейча некий калмык в спектакле о нашей современности. Однажды Пальму, приглаживая калмыцкие усы, нескромно сообщил Илличу:

– Знаешь, Виталий, меня послали на «заслуженного»!..

– Слышал, – невозмутимо сказал Иллич, – вот ты и получишь «заслуженного артиста Калмыцкой автономии».

Вспомнив этот внутриведомственный анекдот и получив воображаемый привет от Иллича, Р. вдруг стал принимать чувствительные сигналы и от того молчаливика, которого обязался вывести на японскую сцену вместо него. Так же, как Виталий, он начинал нравиться

мне, потому что вел себя честно, наученный горьким опытом, не лез на рожон и, не в пример мне, никогда и никому не объявлял своего дурацкого мнения.

Р. понял, что бессловесный гость обрел внутреннюю свободу с тех самых пор, как услышал о себе пронизательное высказывание нашего классика: «*Молчит, а в голове все обсуживает*».

Тут же, со всей внезапностью открытия, прояснилось, что он, разумеется, *пьет*, этого не скрывает и с сегодняшнего утра с великим нетерпением ждет момента, когда сможет от всей души отдаться стихии губернского праздника. Именно сегодня он наконец как ровня *дорвется* пожимать кисти городскому начальству и целовать ручки великосветских дам...

Прикинув, что делать на сцене во время визита, – гость выходил исключительно ради поздравления с удачей, – Р. пошел смотреть прогон спектакля и, конечно, напоролся на Гогу...

Прогон уже начался, и, сидя недалеко от Мастера, я смотрел его с естественным любопытством вводящегося новичка, но в то же время несколько отстраненно...

Ни я, ни Гога не видели спектакля чуть ли не со дня премьеры: я – оттого что не был занят, а он – потому что после выпуска вообще не мог смотреть свои спектакли.

Очевидно, в этом была своя закономерность: репетировал он по многу часов подряд, забывая сходить в туалет и все время возвращаясь к началу. Процесс создания спектакля всякий раз требовал от него органической постепенности. То есть каждая последующая сцена должна была вырасти непосредственно из предыдущей, и, начиная от печки, Гога постоянно проверял на прочность появляющуюся ткань, штопая вчерашние прорехи и закрепляя важные узлы.

Сочинение сценического романа обычно так увлекало его, что репетиционный период можно было сравнить с настоящим мужским загулом, только вместо женщин у него под рукой послушно поворачивались актеры и цеха, а вместо выпивки шла нескончаемая сигарета.

Курил он на репетициях буквально одну за другой, выпуская дымы, сопя, побрякивая и подавая возбужденные реплики, в полном душевном и телесном единении со всем, что происходило на сцене. Естественно, к концу работы он полностью выкладывался и независимо от результата жутко утомлялся. Когда же спектакль выходил и наконец встречался со зрителем, Мастер от него инстинктивно отодвигался, как бы из чувства самосохранения. А за премьерой и рядовыми представлениями следили уже «дежурные режиссеры»: Роза Сирота, Юра Аксенов или кто-нибудь еще. А сам Гога показывался только к финалу акта, или в конце спектакля, или на какую-нибудь ударную сцену, заканчивающуюся аплодисментами, или чтобы подсмотреть реакцию приглашенных в его, то есть левую, ложу уважаемых гостей...

«Ревизор» был уже другой: Тенякова и Юрский жили в Москве, а остальные не то чтобы потускнели, но были, пожалуй, излишне уверены в себе и попривыкли к предлагаемым обстоятельствам. Впрочем, это был черновой прогон, на спектакле все могло измениться. Тем не менее действие шло, и чем дальше, тем понятнее становилось, что хорошо бы мне оценить и внятно одобрить какую-нибудь режиссерскую находку Георгия Александровича и довести свое одобрение до его ушей.

Я смотрел прогон и ждал момента, который мог бы оценить если не с искренним восхищением, то с честной похвалой. Но глядя на сцену и отметив в себе бестрепетность «дежурного режиссера», я подзадержался с одобрением, и тогда Гога, сидящий через кресло от меня, доверительно подсказал:

– Я хорошо это придумал, этот монтаж...

Мне оставалось просто подтвердить его трогательный комплимент самому себе, но по своему дурацкому обыкновению я предпочел тупо признаться:

– Я не помню, Георгий Александрович, я давно не видел...

Гога терпеливо пояснил:

– Здесь, где говорят о приезде Хлестакова, я вставил часть второго акта...

- А-а-а, – протянул Р., еще не вполне понимая, и спросил: – Как продолжение рассказа?
- Да, – довольно и выжидающе подтвердил он.

Но и тут вместо прямой похвалы я глубокомысленно выдавил из себя голый глагол: «Понимаю».

Мы хорошо знали, что одного понимания все-таки недостаточно. Чтобы жить с Мастером душа в душу, нужно было его не просто понимать, а принимать, одобрять и восхищенно поддерживать во всех проявлениях композиционного гения. Это не удавалось только законченным идиотам. Наконец, заставив себя поверить, что вставка из второго действительно улучшает первый акт «Ревизора», я родил слабоватое, но искреннее и даже сопровождаемое кивком головы: «Хорошо».

И было хорошо, пока не наступил финал первого акта: городничий собрался и поехал в гостиницу к Хлестакову.

Тут-то мне, дураку и филологу ташкентского разлива, ударила в лоб грубая догадка о том, что композиционный гений Гоголя все-таки не слабее Гоголиного и автор нарочно весь первый акт нагнетает тревогу и загадывает загадку: кто же это такой поселился *там, в гостинице?* И только когда городничий уезжает это выяснять, мы попадаем в номер Хлестакова и Осипа. *Пока те сюда едут, в гостинице происходит вот что*, и, становясь сообщниками Гоголя, мы только теперь понимаем, что Хлестаков – вовсе не ревизор. Так, по-моему, достигается непрерывность и растет напряжение драматического действия...

Тут я стал молча придирается к исполнителям, отмечая разные прогонные недостатки, и тем самым повел себя вовсе не корректно. Оправдывало меня – и то в малейшей степени – лишь то, что не только Гоге, но и никому другому, кроме своего дневника-двойника, я своих замечаний не открыл.

К антракту господин Бессловесный, хотя и носил костюм сдержанного Иллича, повел себя беспардонно и так расшалился, что еще за кулисами начал приставать к мимо следующим дамам с сельскими комплиментами. Делать этого никак не полагалось, но, очевидно, его, так же как и артиста Р., привело в полное восхищение то, что хозяева театра «Кокурицу Гокидзё» предложили ленинградским артистам зеленый чай из маленьких пиал. А это было уже совершенно по-узбекски!..

Товстоногов на второй акт не пошел, а уселся за кулисами на низком диванчике и опять покуривал, озираясь по сторонам.

Прогуливаясь поодаль, Р. заметил, что Мастер одну за другой делает попытки подняться с дивана, дергаясь с места, но его подводят ноги, и встать никак не удастся.

Трудно быть свидетелем слабости великого человека, и Р. сделал вид, что ничего не замечает. Тогда Гога обратился к нему:

- Володя, вы не знаете, где этот зеленый чай?
- Вот здесь, рядом, Георгий Александрович, – показал Р. за угол и налево.

Мастер снова дернулся с места и снова не смог встать. Очевидно, ноги уже тогда начинали его подводить, но масштабов грозящей опасности никто еще не представлял.

- Володя, – робко сказал он, – вам не трудно принести мне зеленого чаю?
- Конечно, нет, Георгий Александрович! – воскликнул недогадливый Р. – Одну минуту!
- Не в службу, а в дружбу, – послал он вдогонку, и Р., оглядываясь на ходу, радостно ответил:

- Ну разумеется, Георгий Александрович, именно так!..

Хотя слово «дружба» было произнесено Мастером в составе пословицы и не могло иметь буквального смысла, оно согрело преданное сердце артиста Р. Вернувшись с чаем, он, по узбекскому обычаю, приложил левую руку к груди и, с поклоном передавая маленькую фарфоровую пиалу, сказал:

- Ана чой!..

– Большое спасибо, – сказал Гога, принимая ее, и спросил: – Это вы по-узбекски?..

– Да... И зеленый чай – тоже... Всё как в узбекской чайхане... Не хватает только тюбетеек... «Ана чой!» значит «Вот чай!»

Мастер стал осторожно прихлебывать, неумело держа пиалу не одной рукой снизу, а обеими за края.

– Кстати, Георгий Александрович, – сказал Р., – не удивляйтесь, пожалуйста, если узбекское начальство попросит вас одолжить меня на постановку. В Театре Хамзы нет главного и неважные дела. Они знают, что, с одной стороны, я – от Гинзбурга, а с другой – от вас, и мне сделали такое предложение...

– Да?.. А что они хотят? – любопытствовал Гога.

– Речь идет о классике. У них шел «Отелло» с Абраром Хидоятковым... Может быть, Шекспир... Я думал о Гамлете в восточном дворце, восточных костюмах, с восточными страстями, коварством, резней... Они говорят «хоп», то есть «хорошо», но предлагают подумать еще о Чехове...

– Ну, Чехов у них не получится, – решительно сказал Гога.

– Я тоже так думаю, и у меня про запас Достоевский... Может быть, «Идиот» с оглядкой на Куросаву... Русские имена по-узбекски звучат странновато... Например, Гаврила Ардальонович. И потом все эти наклейки, парики, армяки... Они должны играть себя и про себя... А настоящие страсти, любовь, ревность, все, что связано с деньгами, – это свое...

– Вы правы, – согласился Гога.

– Еще чаю? – спросил я.

– Нет, благодарю вас, довольно.

– Вы знаете, есть такое узбекское слово – «дивона»... Не «идиот», а, скорее, «блаженный», или «обезумевший от любви», или «влюбленный до святости»... Все эти смыслы... Не «дервиш», а «дивона». Это, по-моему, еще точнее о Мышкине, чем «идиот»... Ну, разумеется, нужно увидеть актеров, посмотреть, есть ли там Гамлет или Мышкин, но пока важно решить в принципе... Вы отпустили бы меня в Ташкент на постановку?..

– А вам хочется? – спросил он, глядя на меня снизу вверх.

– Честно говоря, да.

– Так ставьте, – решил он.

12

Возможно, я ошибаюсь, как, впрочем, и во всех остальных моих предположениях и выводах, но мне показалось, что одной из ведущих утренних тем стали всеобщие и взаимовыгодные консультации насчет японской аудио- и видеотехники, еще сравнительно редкой и дорогой на необъятных просторах нашей родины.

Инициативная группа лидеров – Рома Белобородов (замдир), Юра Изотов (завцех) и Гена Богачев (арт.) с двумя или тремя ассистентами, сведущими как в вопросах использования аппаратуры, так и выгодной ее «ликвидации», – совершив ряд пеших разведок, донесла, что в магазинчике господина Отадзими на Акихабаре, известном каждому прибывающему из СССР, есть достаточный выбор, а главное, ожидается коллективная скидка.

Это ключевое слово приобрело популярность не только за столиками, но и в номерах и стало производить на всех наркотическое действие, как музыка, звучащая из стереоколонок.

Так мы оказались «скованными одной цепью», ибо шаг вправо или влево от господина Отадзими и его налаженного бизнеса грозил потерей вожаемой *скидки*. Поэтому многие смельчаки, похорохорившись для порядка, возвращались в лоно «семьи», к «Ежику»: японец Отадзима носил почему-то польское имя Ежи. Как это с ним случилось, сказать не берусь, но в наших разговорах то и дело звучало «Ежик», «у Ежика», «с Ежиком», «Ежик обещал», «Ежик сбросит» и т. д.

– А балетные говорят, – засомневался Женя Соляков, – что технику надо брать не у него, а в магазине «Аэрофлот»...

– Это у Ежика «Аэрофлот», – сказал Жора Штиль.

– Нет, у конкурента, – сказал Леня Неведомский.

– Нет, у Ежика, – сказал Володя Козлов.

– Почему у конкурента? – строго спросил Юра Изотов.

– Потому что у Ежика может оказаться некомплект, – сказал Женя и пояснил: – Так балетные говорят...

– На Гинзе надо брать, а не на Акихабаре, – сказал Вадим Медведев, но Слава Стрельчик оспорил:

– На Гинзе цены хулиганские...

– Зато там товар первого класса, – сказал Миша Волков.

– Ну, это без нас, – решительно сказал Володя Козлов, – мы пойдем другим путем...

Очевидно, он имел в виду поиски вещей дешевых, на которые у нас были свои мастера, интуитивно определявшие отдаленные сейлы и бросовые распродажи. Этим умением особенно отличались «цыганский оркестр» и некоторые участники «табуна». Специалистов по уцененным товарам остроумный Женя Чудаков уже давно назвал «санитарами Европы», имея в виду то, что они благородно подчищали магазинные развалы и ярмарочные свалки. Впрочем, на гигантской осенней распродаже, которая раскинулась по всей территории стадиона «Каракуэн», бродили все, включая самых «благородных». Поэтому каждый, кто хоть однажды был замечен в позе разгребателя неупакованного ширпотреба, имел право носить титул «санитара Европы» или, по другой версии, «ассенизатора Евразии».

Вскоре выяснилось, что конкурент Ежика дал *неправильное* интервью по поводу сбитого «Боинга», и оказалось, что от Отадзима-сан нам не отвертеться и *«с политической точки зрения»*...

При всей разнице вкусов главный технический «водораздел» проходил между теми, кто хотел приобрести аппаратуру в личное пользование, и теми, кто за ее счет решил улучшить свое материальное положение. В соответствии с целью менялись критерии и приоритеты...

Миша Волков сосредоточенно покупал, а на следующий день сдавал то одну, то другую японскую игрушку. Это отбирало у него много времени и душевных сил, потому что, приняв решение, он, как настоящий мужчина, немедленно его исполнял, дружелюбно прощался с продавцами и хозяевами, за ночь успевал передумать, а утром ошарашивал вчерашних друзей требованием вернуть деньги. Юра Аксенов сказал, что точно так же он вел себя во время летних гастролей по нашим войсковым частям, расквартированным в Восточной Германии.

Для таких гастролей бригады артистов формировало командование Ленинградского военного округа. Согласно обычаю, на местах приезжих кормили с офицерского стола, а суточные оставались на приобретение вещевого дефицита. От БДТ особенно часто в такие гастроли устремлялись Иван Пальму с Севою Кузнецовым, но как раз накануне Японии в группу «войсковиков» вошли Юра Демич, Лена Попова (в то время – жена Юры Аксенова) и Миша Волков. Так вот, еще в Германии Миша с утра отправлялся на военной машине с сопровождающим из гарнизонного городка километров за тридцать в близлежащий немецкий населенный пункт, приобретал там товары повышенного спроса, а из следующей части, куда успевала переместиться гастрольная бригада, уже на другой машине и с другим сопровождающим километров за сорок возвращался купленные вещи сдавать.

Р. по заграничным частям никогда не ездил, но был о таких гастролях частично информирован, так как о поведении Волкова в Западной группе войск ему рассказывал Аксенов, а о поведении Аксенова – Волков...

В отличие от Волкова Р., «оледенев над пропастью поступка» (малоизвестный перевод монолога «To be or not to be» Алексея Матвеевича Шадрина), почти всегда тянул с приобретением до последнего момента, покупал неуверенно и часто неудачно, а однажды во время аргентинских гастролей так и остался при половине суточных, которые в Союзе пришлось менять на «березовые» чеки. Это было крайне глупо и непрактично, но утешением служила мысль о том, что Ирина сама пойдет в «Березку» и выберет то, на что этих чеков хватит.

В Японии на мою тяжелую рефлекссию обратил внимание Миша Волков и поделился наблюдением с Валей Ковель. Поэтому, расстреляв свои патроны, она предложила мне купить у нее «чудную японскую кофточку». Я попробовал уклониться:

– Спасибо, Валечка!.. Вот приедем в Питер, примерим...

– Ну-у, в Питер! – сказала она. – Мне сейчас иены нужны.

Р. осторожно возразил:

– Но, Валюша, у вас с Ирой даже издалека... бюсты разные.

Валя уверенно сказала:

– Вырастет!.. Вырастет у нее бюст! Можешь быть уверен!.. Покупай на вырост!..

– Я подумаю, – сказал Р.

– И думать нечего! – отрезала Валентина и пошла предлагать кофточку кому-то еще.

Юзеф Мироненко с Женей Соляковым обдумывали крутой гешефт с видеомагнитофоном. Юзеф убеждал:

– Ты пойми, у меня в Ташкенте есть друг, он сдаст его за двенадцать тысяч как минимум!

Ты что?! В Ташкенте видак с руками оторвут!

– Он что, торгаш, комиссионщик? – спросил Женя.

– Кто? – не понял Юзеф.

– Ну, твой друг...

– Нет, – сказал Юзеф, – он тренер.

– В каком виде? – спросил Женя.

– Да неважно, – сказал Юзеф, – ты пойми главное: видак в Ташкенте – с руками!.. Да там их вообще нет!..

Юзеф не терял связи с родным городом, а Женя создал новую семью с девушкой из солнечного Узбекистана и тоже вошел в ташкентское землячество. В итоге японских переговоров Женя с Юзефом приняли решение «сложиться» и «взять на грудь» солидный японский видеоманитофон, предназначив его к продаже в столице Средней Азии. (Образное выражение «взять на грудь», автором которого, по-моему, являлся артист Борис Лёскин, расширило свое значение и кроме «упражнения со штангой» приобрело добавочные смыслы, например «крепко выпить» или «купить дорогую вещь»...)

Итак, Юзеф и Женя осуществили задуманное и, возвращаясь из Японии, пролетели почти над Ташкентом, посылая мысленный привет другу-тренеру. А их аппаратура в общем контейнере приехала в Ленинград малой скоростью гораздо позднее.

Отправлять видак в Ташкент посылкой было не просто рискованно, но и глупо, и Женя с Юзефом стали ждать надежной оказии. И тут в гости к дочке приехал Женин тесть, представлявший сразу два братских народа, так как был наполовину узбек, наполовину казах, и клятвенно заверил полувладельцев магнитофона, что доставит видак до места целым и нераспечатанным. Однако Юзеф и Женя решили его провожать, обдумывая, как получить от «Аэрофлота» охранные гарантии.

Была глубокая осень, и Мироненко надел плащ с подстежкой, а Соляков – короткое кожаное полупальто, конечно, тоже заграничное, чтобы выглядеть как можно респектабельней.

Доведя тестя до стойки регистрации и показывая на него уверенной рукой, Женя солидным голосом сказал:

– Это – референт товарища Рашидова, он везет дорогостоящую японскую аппаратуру. Пожалуйста, позаботьтесь о ее сохранности!

Тогда все знали, что Шараф Рашидов – не только первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана, но и кандидат в члены Политбюро, возглавляемого самим Брежневым. Поэтому люди на регистрации, не требуя дополнительных доказательств и подтверждая убедительность Жениной игры, сказали:

– Не беспокойтесь, товарищ. Мы проследим, – и, поставив на билете «референта» особую отметку, разрешили проводить его прямо в самолет.

Юзеф был нахмурен и нес магнитофон, прижимая его к взволнованной груди. Ему досталась роль молчальника *из личной охраны*.

Когда *референт товарища Рашидова* проходил в отстойник и двигался к самолету, Женя, слегка отстав, обратил внимание на его не вполне цековский вид, а особенно на дырчатую авоську, которую дорогой тесть не выпускал из цепкой руки. Из авоськи торчали невзрачная рыбка, ничем не прикрытые макароны и прочие демаскирующие тестя недефицитные продукты. Поэтому, доведя его до трапа, Женя подкорректировал легенду:

– Это – шофер референта товарища Рашидова, он везет... и т. д.

Но и тут оценили близость к руководству, и тут было обещано должное внимание, и видак благополучно улетел в Ташкент.

Долго ли, коротко, но «шофер референта» встретил «товарища тренера», и они поставили сказочную японскую аппаратуру в обыкновенный комиссионный магазин.

Никто не знает почему, но в ташкентском «комисе» к видеоманитофону отнеслись скептически и резко снизили стартовую цену по отношению к идеализированной Юзефу сумме.

Но и это не помогло. Видак стоял на полке месяц за месяцем, и месяц за месяцем по согласованию с ленинградскими полувладельцами ташкентские полупродавцы снижали стоимость дивной игрушки. Ни один местный интеллигент не позарился на японское чудо, не говоря уже об узбекских рабочих и колхозниках-хлопкоробах. В чем было дело? Где крылась причина его упорной неликвидности? Кто разгадает загадку товарного спроса на рубеже времен и пространств? Кто осмыслит тайну тайн народного потребления?

Хлеба и зрелищ жаждал могучий имперский народ, что же за осечка вышла в богатой азийской земле? Зачем стоял и не хотел уходить в хорошие руки этот диковинный зверь?

Доныне струятся в душе эти и другие большие вопросы, на которые не смогли ответить не только шекспировский принц и чеховские интеллигенты, но и пророческий гений Пушкина.

Зачем от гор и мимо башен
Летит орел, тяжел и страшен,
На чахлый пень? Спроси его.
Зачем арапа своего
Младая любит Дездемона,
Как месяц любит ночи мглу?
Затем, что ветру, и орлу,
И сердцу девы нет закона...

Любезный читатель, одерни наконец говорливого автора, разрушь его актерский пафос и напхни ему, бестолковому, что речь идет о сезоне 1983–84 годов, когда Советская империя равна самой себе, граница – на замке, а кассеты с чужими фильмами – идеологическая контрабанда.

Нечего, нечего было еще смотреть по чудесному видуку!

И вот, проведя совещание по междугородному телефону, «корпорация» решила вернуть технику в Ленинград и целиком оплатила как представленные счета, так и новый авиабилет для «шофера референта товарища Рашидова», которого убедительно попросили в обратную дорогу авосек с собой не брать. В конце концов в одном из ленинградских «комисов» вещь ушла менее чем за половину воображаемой цены, а Женя и Юзеф сказали себе, что и то хорошо, и это тоже приличные деньги...

Несколько лет назад автор рискнул напечатать в журнале «Знамя» короткую повесть «Прощай, БДТ!», носящую подзаголовок «Из жизни театрального отщепенца» и имевшую некоторый спрос у читателя. При написании ряда эпизодов автор полагался на свою необъективную и склонную к абберациям память (как помнил, так и излагал), а также на некоторых авторитетных для него свидетелей.

Однако года через два после журнальной премьеры жена автора Ирина Владимировна, по неосторожности носящая ту же фамилию, что и он, обнаружила в глубине антресолей несколько общих тетрадей в коленкорных обложках (96 листов, ГОСТ 13309, арт. 6344, цена 44 коп.) – две черные, красную, синюю, зеленую и две коричневые, причем одна из черных и одна из коричневых увеличенного формата (96 листов, арт. 6701-р, цена 95 коп.). Оказалось, что на клетчатых страницах многие события, цифры, факты, речи и реплики из прошлой жизни артиста Р. были им закреплены по горячим следам и почти подневно. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что здесь содержится более высокая по степени достоверности информация, впрочем, при той же субъективности взглядов и оценок.

Появление на свет клетчатых тетрадей обозначило некий Рубикон в позднем становлении автора, открыв ему новые возможности и обязывая вернуться к некоторым уже известным сценам. Болезненная жажда истины и попутного самоусовершенствования потребовала придать им новую окраску и дополнить упущенными прежде деталями. Особенно это относится к сценам с Товстоноговым и воспоминаниям самого Мастера, из почтения зафиксированным автором дневника почти дословно.

Читатель может подумать, что ему предлагаются мотивы, как бы спорящие с повестью «Прощай, БДТ!». На самом же деле никакого спора нет и быть не может. Сопоставление дат, уточнение обстоятельств и стилистических нюансов, введение новых реплик и ремарок, то есть

сравнение вариантов, должно, по нашему мнению, всего лишь посылить развивать внутренний сюжет и поставлять натуральную пищу читательскому воображению. А жанр, в котором до сей поры автор не в силах дать отчет ни себе, ни читателю, продолжает самоосуществляться в неизвестном направлении.

Так, в рассказ «Вельветовая пара» не вошли некоторые реплики из малой коричневой тетради:

Р.: Георгий Александрович, представляете, как можно укрупнить блоковские ремарки, например «Поварята безобразничают»? Какой простор для импровизации!.. Или: «Вдали раздается переключка ночных сторожей...» Почти как у Пушкина: «И сторожа кричат протяжно: Ясно!..»

Т. (переходя на шепот): Володя, а вы читали книгу Романа Якобсона?

Р.: Нет, к сожалению.

Т.: А я прочел!.. Книга очень сильная...

Р.: Так дайте хотя бы на ночь.

Т.: Я бы вам дал, но у меня ее нет! Я прочел ее ТАМ... (Показывает большим пальцем за свое правое плечо, что заменяет выражение «за бугром».) Мне нельзя ничего привозить!.. Могут проверить... Речь идет (еще больше понижает голос) о люмпене, которого Блок вывел в поэме «Двенадцать». Люмпен – вот кто главное действующее лицо!.. И этот люмпен-пролетариат порождает люмпен-генералиссимуса, люмпен-буржуазию, люмпен-бюрократию и так далее... Понимаете?.. Очень сильно!..

Имея в виду историческую «люмпенизацию», мы и должны рассматривать частную жизнь наших героев, не исключая самых выдающихся, и, безусловно, самого автора, который, как становится очевидно, несмотря на некоторое вольнодумство и врожденный сепаратизм, плоть от плоти общего театрального тела. Что же удивляться тому, что в красной тетради сохранились не только подробные описания впечатляющих музейных экспонатов, но и стоимость разных вещей, которые он собирался приобрести на полученные 294 430 японских иен. Правда, 430 иен предлагалось тут же отделить и сдать в общий котел на подарки таможенникам и юбиляру, далее возникла подписка «на администраторов», оставшихся в Ленинграде, и другие аналогичные предложения, но все это были совершенные пустяки в сравнении с невиданной, и, я бы даже сказал – титанической суммой...

По этому поводу Алла Федеряева сказала Ирине Ефремовой:

– Ира, пойми, ты держишь в руках сто тысяч, ты никогда не держала в руках таких денег, ты можешь сейчас пойти и купить все, что только захочешь!..

И полученные иены действительно оказали влияние на всю оставшуюся жизнь многих действующих лиц нашей истории. Так, актриса Ира Ефремова, вдова Ивана Ефремова, одного из худруков БДТ дотовстоноговского периода, продав мини-систему и ковер, сумела наконец купить себе скромную мебель: диван, светильники, люстры, кресла; вторично женить сына, устроив ему достойную свадьбу, и сохранить немало носких вещей и чудных безделушек, донине украшающих ее суровый пенсионный быт. Сын ее Никита знает Японию по материнским рассказам так, как будто сам в ней побывал, а к Ирине по сей день, а вернее, по сию ночь приходят упоительные японские сны...

Женя Чудаков подбил завсветом Евсея Кутикова за компанию с Зиной Шарко купить по вязальной машинке и, продав свою, приобрел дачку под Ленинградом, на которой благоденствует в окружении близких каждое лето. Зина подарила волшебный инструмент сыну Ване Шарко, который с его помощью удачно стартовал на пути к театрально-производственному предпринимательству. И хотя судьбы вязального устройства Кутиковых установить пока не удалось, я решительно убежден, что и оно пошло во благо семейству.

А Семен Ефимович Розенцвейг помимо полной музыки системы «Хитачи» купил еще стиральную машину, которая в древнем Киото стоила дешевле, чем в других городах... И,

как мне кажется, эта полезная покупка была сделана не без участия милой русистки Иосико, потому что ее появление в соседстве с Розенцвейгом отмечалось не только в Токио, но также в Киото...

Ну да, конечно, конечно, Иосико занимала языковая практика, а Семен был вынужден думать о доме и стиральной машине, но что копилось в них при каждой встрече, нельзя понять трезвым умом.

Вот она стоит перед ним, глядя из-под челки и снизу вверх, хотя он и сам небольшого роста, и ему трудно глядеть ей в глаза: он смотрит на губы, и слушает ломкие русские слова, и что-то бормочет в ответ.

Она в белой блузочке, застегнутой под самой шейкой, никакого декольте, короткие рукава открывают изящные ручки, а на левой – квадратные часики с черным простым ремешком.

И вот правая ладошка ложится сверху на левую кисть и сжимает ее; теперь нежные ручки сложены перед собой, словно защищая что-то внизу живота. Потому что в ней растет странное волнение, и льется из глаз, и обжигает его совершенно без всяких мотивов и причин, вопреки скромнейшим мизансценам... Хорошо бы вернуться на теплоход «Хабаровск» и побегать по палубе вместе...

Кому действительно не повезло, так это Аллочке Федеряевой, которая, продав японскую роскошь, положила денежки в банк, а банк, к чертям собачьим, рухнул, и Аллочке остались одни островные воспоминания. А после смерти Гоги она погорячилась и, обиженная тем, что ее не взяли в Индию, подала заявление об уходе накануне пенсионного полнолетия.

– Знаешь, Володя, – сказала мне Алла, прописанная прежде бойкой «лошадкой» в объездившем мир «табуне», – первое время я была даже рада, как будто груз с души сняла, а потом... Ничего у меня не вышло... Мама лежит уже четвертый год... Дом ремонтируют, и даже холодной воды нет... Хорошо, если накапает, а то – нести со двора... Все мои маршруты – аптека, почта и магазин... Вчера давление подскочило так, что, думаю, конец мне пришел, а как же без меня мама?.. И вообще теперь ясно: как кончаешь работать – кончается жизнь...

– Точно, – сказал Р. – Или наоборот: кончается жизнь – и никакой работы...

Какая же работа после того, как тебя сбили?.. Лежи на небесных полатях и думай о вечном. Или плыви на спине через все океаны...

Кому служила рубашка, коричневая с зеленым, клетчатая ковбойка из теплой фланели?.. Чем занимался с утра ее бодрый хозяин, пока мы его не сбили?..

Камера укрупняет рубашку, выуженную из океанской волны, и вот надпись на фирменной марке: «Canada shuingo»... Канада... Ковбойка совсем цела, хоть сейчас на работу...

Камера укрупняет неровные ломти обшивки, рваные щели в крашеном металле и номерную отметку 132–058...

А вот и кукла с открытыми глазами, кукла, смотрите!..

И фото трехлетней японочки, которая держит игрушку...

– Не надо показывать куклу, такую же, как у моей Маши!..

А камера – снова куклу!

– Сволочи, гады, подонки, сволочи, гады! – рыдает Зина Шарко, вспомнив трехлетнюю внучку. – Будьте вы прокляты, гады, сволочи, гады, подонки!..

И Зина долго плачет, выключив «Pioneer», и не может уснуть.

Кого она прокликает, операторов, что ли?..

Убийца еще безымянен, заказчик тоже...

Саму безумную смерть?..

Какая же тут работа, какие спектакли, когда нас сбили во сне, сбили над океаном?..

13

Прогон «Розы и креста» Гоге понравился.

Вечером того же дня ко мне в гримерку явилась Дина и, как настоящая сообщница, выложила то, что услышала от Мэтра наедине, потому что при мне Гога, оказывается, был сдержан «из воспитательных соображений» (сколько же можно меня воспитывать?!), а оставшись наедине с Диной, сказал, что просто поражен, как это Р. удалось в таких условиях повести актеров за собой и за пятнадцать репетиций сделать то, что они сегодня увидели. Дина сказала, что я сдал Гоге экзамен на режиссуру и он поверил в мои новые возможности. От себя она добавила, что несколько раз плакала во время прогона, а с ней это случается редко, потому что Р. играл Бертрана с полной погруженностью и без всяких «актерских штучек», имевших место в прошедшие времена. Она сказала, что у нее постоянно возникали «блоковские ассоциации» и невеселые мысли о его короткой жизни и трагической судьбе. Поэтому в отличие от Георгия Александровича она по-прежнему отдает первое место артисту, а не режиссеру Р., надеется, что он не будет повторять ошибок Сережи Юрского и сделает для себя правильные выводы...

– Имейте в виду, Володя, – заключила наш легендарный завлит, – я снова вас полюбила...

Тут было над чем поразмыслить.

Ну, во-первых, о блоковских ассоциациях, которые у нас с Диной возникли от одного источника.

А во-вторых, за что она меня разлюбила до того, как сегодня полюбила опять?.. Или так: за что она полюбила меня впервые и по какой причине после этого вдруг разлюбила?

Первый трогательный эпизод многожды напоминала сама Дина, а второй, горький, в один из гастрольных вечеров восстановил в моей нетвердой памяти Стрельчик. И ей, и ему я привык доверять.

Итак, по порядку. Летом 1963 года, только что приехав на отдых в знаменитый Дом творчества «Щельково» на Волге, Д.М.Шварц выразила желание выпить с дороги, однако, к ее и общему прискорбию, оказалось, что выпить в «Щельково» абсолютно нечего. С местом или временем была связана тогдашняя и тамошняя драма или это было жуткое стечение многих обстоятельств – не помню. Однако, по словам Дины, артист Р., услышав о ее неутоленном желании, пошел в свой номер и принес оттуда оказавшуюся в последнем запасе чекушку водки. И вот тут, выпив эту историческую чекушку, Д.М.Шварц впервые его полюбила и, как ей запомнилось, стала изо дня в день славить поступок Р. на всю щельковскую округу, доводя до персонала и отдыхающих, что в БДТ появился новый артист из Ташкента, исполнитель роли Гамлета, а главное – человек, не пожалевший для нее последнего глотка. По версии Дины Морисовны, она рассказала об этом корифею МХАТа Василию Осиповичу Топоркову с семьей, еще одному мхатовцу Лене Топчиеву, звездной паре из Большого – Кате Максимовой с Володей Васильевым, представителям Малого – Никите Подгорному и Аркадию Смирнову, и многим, многим другим. Здесь же, потрясенный масштабом поступка, художник и модельер Слава Зайцев снял со своего плеча роскошный, крупной вязки свитер-кольчугу, заставил артиста Р. надеть его на себя и предложил художнику и оператору «Мосфильма» Володе Бондареву сделать фотопортрет героя на фоне щельковского бревенчатого сруба.

Несмотря на скверную память, события отрицать не берусь, хотя бы потому, что со всеми поименованными лицами и впрямь познакомился там и тогда, а фотопортрет в свитере чудом сохранился. Да и глупо было бы отрицать хоть что-нибудь, даже косвенно относящееся к собственной славе. И все же я справился бы с собой и не привел на этих страницах лгящего мне эпизода, если бы он в гораздо большей степени не характеризовал саму Дину Морисовну Шварц, ее обаяние, простодушие и преданность любимому театру.

Горький же эпизод, связанный с потерей любви и расположения легендарного завлита, следует, очевидно, отнести к концу семидесятых годов, а именно к гастролям БДТ в городе Омске, где помимо основного репертуара мы для «поддержки штанов», то есть ради дополнительного заработка, «отработали» много филармонических концертов и творческих встреч под эгидой общества «Знание». Концерты по линии местной филармонии лихо организовал наш спутник-антрепренер Рудик Фурман, впоследствии по совету Товстоногова переименовавший себя в Рудольфа Фурманова, а по линии общества «Знание» во встречах с рассказами о собственном творчестве и прокручиванием избранных кинофрагментов преуспели многие, в том числе Штиль с Неведомским и Рецепттер со Стржельчиком.

Так вот, со слов Стржельчика, пересказавшего этот случай в лицах своей жене Люле Шуваловой (я оказался при этом пассивным слушателем), в одном из концертов Р. читал какие-то свои произведения и, вернувшись со сцены за кулисы, с ходу получил совет присутствующего завлита: Володя, лучше бы вы читали не это, мол, а то... Разгоряченный омскими аплодисментами, Р., не задержавшись с ответом, ляпнул: какое, мол, счастье, Дина Морисовна, что хотя бы в этом я вам неподведомствен... Причем последним словом Стриж почему-то залюбовался и повторил его на разные лады. «Понимаешь, Люлечка, как она взвилась!..»

Если бы не Слава, который всегда был внимателен к людям и их отношениям и таил в душе польскую любовь к «неподведомственности», я бы не запомнил обмена репликами с Диной Морисовной и всю оставшуюся жизнь гадал, за что же именно Дина Шварц, автор статьи об артисте Р. в «Театральной энциклопедии», все-таки его разлюбила.

И тут следует сказать напрямик, что причина у нее была совершенно уважительная, ибо ответ, вырвавшийся у Р., был не только бестактный, но и возмутительный. Человеку хотят помочь с концертным репертуаром, дают квалифицированный совет, а он – нате вам с кисточкой, не лезьте, мол, не в свое дело... Иносказательная вежливость примененной формы выражения тут сути не меняет и даже, наоборот, превращает простое «отстаньте» в высокомерное, с издевательским оттенком «атандё!».

Но главное в том, что ответ, включивший слово «неподведомствен», вскрыл подсознательное, а следовательно, глубинное и сущностное несогласие Р. с репертуарной политикой театра вообще и его легендарного завлита в частности. Вы только вслушайтесь: какое счастье, что хотя бы в этом... и т. д.

Безобразие. Наглость и безобразие.

И, конечно же, глупость, если не полный идиотизм.

Ну какая, к черту, может быть дурацкая «неподведомственность» внутри мудрого и почти совершенного ведомства?

Вот еще когда, оказывается, открыто проявились отщепенские свойства артиста Р., его отвратительное стремление к полному сепаратизму, черта болезненная и, кажется, неискоренимая...

Ну да, после прогона «Розы и креста» Дина снова меня полюбила, но опять-таки не навсегда, не до конца дней...

* * *

– Нельзя же теперь *такое* писать, – сказала хозяйка.

– Почему нельзя? – спросил Р.

– Пришла эта дама и попросила вычеркнуть...

– Позвольте, Нина Флориановна, – растерялся я, – что за дама вас наставляла?

– Я уж не помню, как ее звали, сказала, что из музея Блока, она велела вычеркнуть все *такое*, и мне ничего не оставалось...

– Нина Флориановна, – сказал я со всей убедительностью, на которую был способен. – Забудем про даму... С вашего позволения, я включу эту бандуру, – я показал на магнитофон, – и вы расскажете все, что она просила вычеркнуть.

Речь шла о Блоке, с которым ровесница века и актриса Большедрамте² Нина Флориановна Лежен работала все его последнее время...

Знакомы мы были давно, потому что прежде она изредка заходила в театр, поддерживая связи с уцелевшими сослуживцами, особенно с Сергеем Сергеевичем Карновичем-Валуа. А сегодня я навестил Нину Флориановну в Доме ветеранов сцены (ДВС им. М.Г. Савиной) на Петровском проспекте, 13...

В ДВС Нина Флориановна переехала уже из отдельной квартиры, но, прежде чем получить отдельную, много лет прожила в огромной коммуналке на Лиговке, 216, пятый этаж без лифта, с семьёю соседними квартиросъемщиками. В длинном коридоре плавно накручивали цифирь восемь электросчетчиков, в туалете и ванной один за другим шелкали восемь и восемь – шестнадцать выключателей, а в общей кухне на восемь столов и тумбочек вспыхивали открытые конфликты, которые удавалось погасить только ей.

Нина Флориановна врывалась в эпицентр боевых действий в своем излюбленном халате с цветами и узорами, перепоясанном широким и плотным бордовым кушаком, и глубоким проникающим голосом восстанавливала порядок и справедливость.

В Большедрамте Нина Флориановна задержалась до первой высылки мужа, потом поработала в провинции и всю оставшуюся творческую жизнь провела в Александринке, пользуясь заслуженным авторитетом и здесь.

Когда в годы террора исчезал особенно дорогой человек, она шла просить о нем «депутата Балтики», народного артиста Советского Союза Николая Константиновича Черкасова.

– Нина, – строго спрашивал он, – ты за него ручаешься?

– Коля, как за саму себя, – отвечала она, приложив к груди свои правдивые руки.

Вернувшись из лагерей, артист Вальяно поведал, как его пытал следователь – активист художественной самодеятельности. Этот драмкружковец завидовал арестованному профессору и на много часов запирали его в платяной шкафу. Потом при помощи подручных он переворачивал шкаф вместе с подследственным вниз головой и снова несколько часов держал заперти. В лагерях несчастному обломали руки и ноги, он еле выжил и еле выкарабкался, но в день смерти Сталина Вальяно плакал на доброй груди Лежен, уверяя ее навзрыд:

– Нинка, он ничего не знал, от него все скрывали, Нинка!..

– Дурак ты, Коля, – отвечала она, – мало тебя в шкафу держали! – и добавляла другие слова, малоизвестные ее французским предкам.

Больше года в коммуналке по Лиговке, 216, с Н.Ф. Лежен соседствовал добрый друг БДТ журналист Лева Сидоровский, написавший для наших капустников тьму смешных реприз и куплетов. Он был холост, любознателен и часто разговаривал с ней о жизни. Как-то, вознесясь над коммунальными девушками и их бесчисленными ухажерами, Нина Флориановна сказала:

– У меня было всего три любовника, но это были Блок, Горький и Борисов Александр Федорович...

Возможно, в этом заявлении, которое произвело сильное впечатление не только на Леву, была вольная трактовка действительных отношений с названным, но слово не воробей, и, стало быть, у Нины Флориановны имелись если не внешние, то внутренние или воображаемые обстоятельства для того, чтобы это сказать...

Я имею в виду не всех троих, а интересующего нас в данном случае основоположника БДТ Александра Блока...

² В 1920–1930-е годы актеры БДТ именно так называли наш театр – Большедрамте (не склоняется).

Встреча происходила за три года до поездки на Японские острова, когда, приобретя радиотехнику, театр, по словам Вадима Медведева, «сильно озвучился». И допотопная «Вега», находящаяся на балансе БДТ, понадобилась Р. по той причине, что у него еще не было собственной аппаратуры. Ни мини-системы «Хитачи», состоящей из четырех поставленных друг на друга блоков, ни даренного фирмой изящного приемника «Саньё» с белой панелью, встроенным микрофоном и монокассетником, ни карманного «малыша», или «Сонечки», как я в зависимости от настроения называл миниатюрный профессиональный диктофон «Сони», напоминающий карманную записную книжку в кожаном футлярчике.

– А почему у меня нет такого? – строго спросила Дина Шварц, увидев у меня еще не испорченную «Сонечку». – Откуда это у вас, Володя?

– Из Японии, – вяло объяснил Р.

– А-а-а, – понимающе сказала Дина. – Подарок фирмы?

– Подарок судьбы, Диночка, – сказал он. – Это я сам купил...

Р. было неловко: рядом с «неозвученной» Диной он чувствовал себя магнатом аудиотехники. Конечно, гастролеры скинулись ей на подарки, привезли сувениры, но ощущение глубокой несправедливости не проходило: к моменту волшебной поездки на острова именно Дина оказалась невыездной.

Товстоногов не поленился заказать пропуск в обком и спросил там напрямик кого-то отвечающего:

– Почему вы не пускаете моего завлита? Она мне нужна.

– Потому что она плохо воспитывает свою дочь.

Стихи Лены Шварц, не печатавшиеся у нас, стали печатать за границей, и в отместку за «неподведомственность» Лены органы не пустили в Японию ее ведомственную мать.

Дина Морисовна Шварц отличалась от других завлитов тем, что ее дивная слитность со своим театром была беспредельна, а личная преданность Товстоногову – беспримерна. Оба эти свойства могли показаться со стороны чрезмерными и даже анекдотическими. Но именно они объяснили театральному миру сущность редчайшего призвания «завлит» и сделали Дину человеком-легендой. Почти все свое время она проводила на Фонтанке, не пропуская Гогиных репетиций, курая с ним наперегонки, записывая его руководящие указания, бессмертные реплики, актерские штучки и шуточки, подавая женские советы, виртуозно ассистируя рабочему процессу и провоцируя Гогины творческие порывы. Весь этот материал впоследствии претворялся ею в необходимые будущим исследователям книги и сборники.

Оказавшись у себя, Дина принималась терзать нервный телефон, выясняя все необходимое обо всем и обо всех. Она хранила страшные тайны, допускала полезные утечки, ласкала лестным вниманием драматургов, строила дипломатические, дружеские и прочие отношения с газетами, журналами и критиками, враждовала с оппонентами, жаловалась на усталость и никогда не уставала. Она отдавалась делу вся и без остатка и, подчиняя жизнь божественной сверхзадаче, днем и ночью вдохновенно лепила рукотворный миф о Великом Театре.

В ее маленький прокуренный кабинетик у лестницы, вблизи от левой, Гогоиной, ложи, несли свои замыслы, признания, жалобы, надежды, доносы, просьбы и покаяния народные, заслуженные и простые артисты и артистки и даже лауреаты государственных премий, навзрыд и напропалую делясь с ней самым интимным в оправданной надежде на то, что Дина поймет и замолвит за них словечко перед Гогой.

Не все, не все ходили, но многие...

И сам Гога не только зазывал ее к себе, но и навещал лично, чтобы, усевшись на диванчик и закулив, поделиться идеей или анекдотом, пожаловаться или похвастаться, обсудить новинки литературы или извивы и прогибы современной общественной жизни, выстраивая ближние и дальние планы.

Что касается репертуара, то, с одной стороны, Дина искала и находила пьесы честные, человеческие, иногда радикально смелые, а с другой – изыскивала что-нибудь верноподданническое и премиально-наградное, однако с оттенками проблематической свежести и даже эстетической новизны, дающими возможность эту самую верноподданность камуфлировать и выглядеть по тем временам вполне прогрессивно...

Важно сказать, что перу Д.М. Шварц принадлежат все или почти все исторические приказы по театру, справки для начальства, представления к наградам и званиям, бесчисленные характеристики, приветственные письма и телеграммы от имени коллектива и лично Г.А. Товстоногова, и во всем этом делопроизводстве и бумаготворчестве ей не было равных.

Когда один из директоров попытался вступить с нею в соревнование и, запершись в своем кабинете, сочинил в поте лица пару праздничных приказов, Дина не смогла скрыть своего презрения и стала называть его графоманом.

Сколько я помню, Дина всегда была по-женски одинока, и это тоже казалось вполне естественным, потому что нельзя же быть настолько преданной театру и в то же время принадлежать какому-то постороннему мужчине.

В молодости она была очень привлекательна, и, кажется, у нее тоже был роман с Гогой. Лена помнит свое детское время, когда Гога будто бы выразил желание жениться на Дине, но этому якобы воспротивилась его сестра Нателла, которая, по легенде, всегда этому противилась. Во всяком случае, так могло показаться со стороны.

Следует отметить еще одну характерную черту нашего завлита: Дина Морисовна удачно успевала на все юбилеи, дни рождения, парадные и непарадные застолья, фуршеты и посиделки; если что-нибудь междусобойное затевалось в буфетах, гримерках, мастерских, реквизиторском, бутафорском или других цехах, она с поразительной точностью появлялась в нужное время и в нужном месте. Может быть, из-за этого редкого чутья Дине однажды присвоили звание «Бабушка русского банкета».

Во множестве версий рассказывают, например, случай, произошедший на борту военного крейсера «Киров», и у меня нет другого выхода, как посылить его передать.

14

Читателю, не пережившему наших времен, следует объяснить, что одной из составляющих жизни каждого советского театра была так называемая военно-шефская работа, которая выливалась в воскресные культпоходы солдат или матросов на утренники или в праздничные шефские концерты в частях и на кораблях. Завершались они обычно братаниями шефов и подшефных за щедрым банкетным столом.

Само слово «шефский» имело несколько смыслов. Ну, во-первых, это значило «безгонорарный», а во-вторых, давало представление о некоем неотменимом почетном гражданском долге, который выполняет каждый служитель Мельпомены, Талии и даже Терпсихоры, давая такой концерт. Один наш артист, например, – уж не знаю, называть ли его имя, – уходя на ночь к неизвестной подруге, убеждал жену в том, что у него сегодня опять ночная съемка. Однажды она задала ему логичный вопрос:

– Если у тебя есть съемки, почему у нас нет денег?

– Потому что это шефские съемки, – не задумываясь ответил находчивый муж, и жена продолжала ему верить. Поскольку артист поделился удачным изобретением с товарищами, в обиходе мужской части труппы надолго закрепилось образное обозначение приятных свиданий – ночные шефские съемки.

Но вернемся на крейсер «Киров», который по торжественным датам бросал якорь у Медного всадника и где дважды в год – 2 мая и 8 ноября – уже по традиции театр давал шефский концерт, а команда отвечала подшефным банкетом.

Однажды 8 ноября Дина Шварц, погорячившись, забыла на крейсере шерстяную кофточку. То ли в дальнейшем ей было недосуг, то ли «Киров» на всю зиму отчалил из города, но до очередного мероприятия, то есть до 2 мая, команда бережно хранила личную собственность нашего завлита.

Наконец майская встреча состоялась и прошла, как всегда, тепло, причем аккуратно завернутую кофточку, успевшую за отчетный период сходить в боевой поход, в торжественной обстановке вернули хозяйке. Шли уже последние братания и поцелуи, как вдруг по неизвестной причине наш дорогой завлит полетел с корабельного трапа и заплескался в холодной Неве.

– Женя, я тут, – доложила Дина из воды парторгу Горюнову, чтобы он не очень волновался, не найдя ее в другом месте.

– Полундра, – сказал вахтенный, – человек за бортом!

И капитан крейсера «Киров», высокий и красивый мужчина, вышедший проводить гостей в белой нейлоновой рубашке, не задумываясь прыгнул за Диной Шварц...

– Что там у вас в руках, бросайте! – приказал он Дине, держа ее за воротник.

– Что вы, как можно! – отвечала ему наш стойкий завлит. – У меня в одной руке – кофточка, а в другой – телефоны всех драматургов Советского Союза!..

Зина Шарко застала Дину уже дома, лежащей в постели, с совершенно счастливым лицом: она была в матросской тельняшке и рассказывала подруге важные подробности.

– Представляешь, Зина, это пальто, которое я у тебя купила, – настоящий размахай, – оно меня и спасло, потому что я не умею плавать и в нем было тепло... Но главное – капитан, такой высокий и красивый!.. Никогда не прощу Лаврову, он разговаривал с каким-то старым большевиком и не видел самого главного!.. Представь себе, мы плывем, вода холодная, мимо проплывают льдины, и все матросы отдают нам честь!.. Я поворачиваюсь к капитану и спрашиваю: «Вы женаты?» Он отвечает: «Да», а я ему говорю: «Очень жаль...» И вот нас вытаскивают на корабль, и все матросы и офицеры собираются вокруг меня, и один говорит: «Раздевайтесь», а я ему говорю: «Как можно, вы же мужчина», а он мне отвечает: «В данном случае я доктор». И

тут всё с меня снимают и надевают на меня тельняшку, вот эту, и брюки, правда, брюки были мне все-таки велики, и относят меня в кубрик, и дают мне выпить спирту, чтобы я не заболела, и все мне рассказывают про своих мам и бабушек; а потом – меня везет домой капитан. Ах, Зина, какой же он высокий и красивый!.. И когда он привозит меня, я снова его спрашиваю: «Вы женаты?» А он опять отвечает: «Да». И я ему: «Очень, очень жаль!..»

Коснувшись этого эпизода, я обязан привести также версию Елены Шварц, которая свидетельствует о том, что в руках у плывущей по-собачьи Дины Морисовны были не прошлогодняя кофточка и записная книжка, а две сумки и неизменная сигарета в зубах. Героем Лена считает не капитана крейсера «Киров», а его старшего помощника, а пальто, в котором совершался заплыв, названо ею тяжелой мутоновой шубой.

Версия Елены приведена автором не для уточнения деталей, а, наоборот, для их расхождения и вариативности, как авторитетное подтверждение легендарного факта.

Говорят, что после этого случая на Балтийском флоте был отдан специальный приказ: «Прекратить в праздничные дни посещение трудящимися боевых кораблей!»

Пленку «Свема» с записью, сделанной на магнитофоне «Вега», Р. передал Дине Морисовне Шварц, и все записанное произвело на нее большое впечатление.

– Что я вычеркнула? – переспросила Нина Флориановна Лежен. – Многое... Ведь что было? Теперь все это сглаживают или вовсе не говорят... В то время, когда Александр Александрович у нас работал, они с Мейерхольдом просто враждовали... Потому что Мейерхольд требовал искать новое искусство, а Блок был против всяких исканий и так нам прямо и говорил... Правда, они вели себя по-разному, потому что Александр Александрович был человек очень деликатный... С чего началось... Мейерхольд был страшным поклонником Блока, а Блок сначала был немножко декадент... Ну, вы понимаете... И Александр Александрович дал свои первые вещи Мейерхольду, чтобы тот поставил их в Театре Комиссаржевской... А в шестнадцатом году, когда Блок написал «Розу и крест», он категорически отказал Мейерхольду и отдал пьесу во МХАТ...

Здесь можно было уточнить, что «Роза и крест» написана в 1913-м, но Р. не стал перебивать Нину Флориановну.

– Он сам говорил нам, и не один раз, что у него изменились взгляды, и проповедовал самые простые вещи, даже мелодраму. Он предлагал поставить «Две сиротки», «Потерянного сына» – то, что Островский переделал потом в «Без вины виноватые»... Блок говорил, что народу нужен «черный хлеб» искусства, а не «креветки», «устрицы» и все такое... Понимаете, он хотел, чтобы все было настоящее – и страсти, и декорации, и костюмы, ну там, бархат, например, и прочее... И в театре все это было. Ведь я даже носила на сцене подлинное платье Вырубовой, и мебель настоящая была взята из богатых домов, можете себе представить... Правда, это было уже позже, в «Заговоре императрицы» Толстого и Щеголева. Алексей Толстой жутко у нас напивался, особенно на генеральных репетициях, однажды его просто вырвало, он чуть это шикарное платье мне не испортил, это был ужас какой-то, не люблю этого Толстого... «Розу и крест» Блок мечтал поставить абсолютно реалистически... Да, сам... Он хотел попробовать, получится ли у него быть режиссером. Александр Николаевич Бенуа был прекрасным художником и прекрасно ставил спектакли... И Блок тоже хотел попробовать... А Мейерхольд в это время был просто нашим гонителем... Почему он напал так страшно на Большой драматический?.. Он же травил Бенуа, буквально травил: «Мавр сделал свое дело, мавр должен уйти... “Миру искусства” нет места в советском искусстве...» и прочее. Мы все это очень переживали, поверьте!.. Почему это сейчас просят вычеркнуть и все сгладить, как будто этого вовсе не было?! Но это – было... Да, он сам пострадал, и его потом самого уничтожили, но он заваривал эту кашу, он сам это все начинал и объявил «Мир искусства» какой-то вредной, контрреволюционной организацией, понимаете?.. Ведь это он довел до того, что

Александр Николаевич Бенуа вынужден был уехать. А ведь он вовсе не хотел уезжать... И мы все страшно не хотели, чтобы он уезжал... Но Мейерхольд его просто терроризировал. Что ни постановка Александра Николаевича, Мейерхольд ее, понимаете, просто раскассировывал!.. Это был какой-то ужас!.. Он же был главный в искусстве!..

Она помолчала.

– Я знаю, Геннадий Мичурин мне сам рассказывал, ведь они вместе с Царевым давали показания против Мейерхольда, и за это их быстро выпустили... Но Царев об этом всю жизнь молчал, а Геннадий сознавался и каялся... И Мейерхольд сам оказался жертвой...

Если бы она время от времени не затихала в задумчивости, Р. и вопросов бы не задавал, а слушал бы и только. Но она умолкала, заглядывая в глаза оглянувшихся дней, и он старался заполнить для себя вычеркнутые кем-то куски. А в паузе после слов «*почитали по ролям*» Р. и вправду увидел вместе с ней: вот они собрались за столом, сидят, молодые и полные веры в него, держат роли в руках, звучит знакомое начало, песня о радости-страданье, и оттуда, издалека, накатывает волна неровного, нервного и необычного стиха...

Старая актриса подхватила эту волну, и Р. подчинился, дав себя заворожить плавному течению ее дивной речи, роскошной петербургской манере с прелестными оговорками, отменной выделке звонких слов, которой нигде больше нет, как в нашем городе, дворянскому призвуку удивленных интонаций, интеллигентному складу недающихся фраз, легким баскам простонародных присловий. Это было, конечно, сопрано с просторными низами и золочеными взлетами...

Звуковой поток из другого времени, вот что колдовало и заколдовывало, и Р. сводил несхожие схожести, нельзя было не сводить, потому что Анна Андреевна Ахматова говорила совсем не так, а все так же, по-сестрински, однако бережливей к каждой фразе и любому отдельному словцу, чуток ниже и гораздо медленнее...

Это Ахматова обняла событие тремя властными словами: «Беседы блаженнейшей зной». Это она с пристрастием расспрашивала артиста Р. о некоем Шекспире, а верней, о другом авторе королевских кровей, который скрылся под этим именем. Как будто Р., сам того не понимая, но рискуя играть Гамлета, виделся с теми двумя, о ком она заводила речь.

Что мы знаем о рукопожатье времен на краях трехсотлетнего провала? И что еще сообщила Р. Анна Ахматова кроме того, что успела сказать?..

А она тоже виделась с Блоком...

Они пили чай с тортом и улыбались друг другу, прекрасная петербурженка около восьмидесяти лет и средних лет самозванец, пытающийся толковать «Розу и крест». И чай, и чашки с блюдами, и кружевные салфетки на столе, и сад за окном, и летнее солнышко сквозь листву – все было кстати.

– Он оживился, когда появилась надежда на «Розу и крест»? – спросил Р.

– О да!.. Вы не можете себе представить!.. Он пришел окрыленный... Ведь это была мечта его жизни!..

И Р. повторил за ней, играя роль эха:

– Мечта его жизни...

– И когда он понял, что Гришин говорит не всерьез и ничего этого не будет, – а Гришин испугался, когда узнал про наши репетиции, – Александр Александрович был страшно огорчен... Он был... просто... смертельно...

– Оскорблен?..

– Да, конечно, но не только это... Но он держал себя великолепно, вы знаете... И на последней репетиции он нам сказал: «Извините, что я заставил вас зря работать...» Вы не можете себе представить, какой это был деликатный человек!.. Он просил прощения у нас, которые счастливы были продолжить несмотря ни на что!.. И мы начали орать: «Что вы, Александр Александрович! Разве вы не понимаете, что мы с вами, что мы готовы, и так далее, и так

далее...» Но он этого не хотел допустить... Мы все его очень любили... Его нельзя было не любить... Вы бы видели, какой он был на своем вечере в БДТ... Это был – живой покойник... Да, да... Жена Павла Захаровича Андреева ему нравилась, Андреева-Дельмас, мы знали... Ему нравились такие... основательные женщины... Но внетеатральных отношений у него ни с кем не было... Сидел он всегда, знаете, в кабинете Лаврентьева, хотя какой это был кабинет, когда там холод собачий был... Это в оперной студии... А в Суворинском, на Фонтанке, любимое место был кабинет Бережного, администратора, это в бельэтаже... Дома я тоже бывала у них: то Любовь Дмитриевна позовет, то Комаровская... Вот я была с Комаровской, и он говорит Юрию Лаврову, которому было пятнадцать лет, и отец его был директором гимназии... Блок говорит Юрию: «Вы еще малограмотны, вам надо учиться». Я уж не поняла, о стихах была речь или об актерстве... Он потом великолепным актером стал. А однажды Блок пришел на репетицию, мы смотрим – на нем лица нет... Но нельзя же об этом писать...

– Нина Флориановна, ради бога, рассказывайте, как было, а писать или не писать, время покажет...

– Мы спрашиваем: «Что с вами, Александр Александрович?» – «Да ничего, – отвечает, – не спал всю ночь». – «Да почему же вы не спали?» Пристали к нему, он не хотел отвечать, потом все-таки вытянули: «Пришли матросы», – понимаете? Братишечки пришли! «Они нам сказали, что у них ордер на лишнюю площадь. Стали выбрасывать книги в коридор... Всё выбросили... Ну, конечно, пришлось... Я собирал книжки всю ночь...» Ну, когда мы это от него услышали, все опять заорали: «Как же можно?.. Почему вы им позволили?.. Почему не позвонили Марии Федоровне, надо было сразу позвонить Марии Федоровне...» Это Андреевой, не жене Павла Захаровича, не Дельмас, а Горького жене... А он: «Ну что я буду ее беспокоить?» Вы представляете?.. Не хотел беспокоить... Ну, когда Мария Федоровна об этом узнала, моментально переселение сделали... А Любовь Дмитриевна, как вам сказать... Она ведь поступила в Псковский передвижной театр, в труппу Беляева, а там Сергей Радлов был... И потом с ним она служила в Народной комедии... А Радлов был учеником Мейерхольда... И они страшно ругали Большой драматический, вы не можете себе представить, как... «*Истлевший гроб с пыльными кистями, украшенный...*» и так далее, и так далее... Понимаете – гроб. Как ему было такое слышать?.. От кого-то ладно, а *от нее!*.. Ведь она была с Радловым заодно... Они с Блоком не разговаривали по месяцу... Он, конечно, это от нас скрывал, но мы догадывались. Да что там, знали... Правда, когда он заболел перед смертью, она уж от него не отходила... В театре ведь живешь – ничего не скроешь...

Услышав этот жутковатый образ – «*истлевший гроб с пыльными кистями*», – Дина Шварц остановила магнитофон, поежилась и стала закуривать сигарету.

У нее была не одна, а две или даже три разные пепельницы, но еще одну, маленькую изящную круглую коробочку-открывашку, она носила с собой в сумке и доставала, куда бы ни пришла, в том числе и у себя в кабинете. И все-таки пепел с ее сигарет не вовремя срывался и помечал все вокруг – книги, пьесы, заваленный бумагами рабочий стол, малые островки тесного пола.

– Все это обязательно надо напечатать к юбилею, – сказала Дина. – Вы хотите это опубликовать?

– Как выйдет, – сказал Р. – Надо ведь расшифровать... Нет, мне, пожалуй, не успеть... Если у вас есть возможность, пожалуйста, печатайте...

– Спасибо, Володя... Но какой ужас услышать про свой театр – «истлевший гроб»!..

– Да, – согласился Р. – Блоку досталось...

Уйдя, наконец, из Большого драматического – хочешь быть «неподведомствен» – уходи! – и проведя немало лет на полной свободе, Р., как было сказано, напечатал повесть

«Прощай, БДТ!». И, несмотря на авторскую оговорку: это, мол, его единоличное прощание с оставленным домом, невзирая на грубый экивок в виде письма внутри повести в адрес Дины, она в самом названии усмотрела возмутительный похоронный оттенок.

И Гоги уже не было на свете, и других, а она все воевала с проявлениями вольномыслия по отношению к БДТ...

Мы встретились на юбилее петербургского ТЮЗа, и, двигаясь мимо, она успела отрецензировать публикацию.

– Володя, все хотят прочесть, в библиотеке – очередь, моя подруга записалась двадцать второй... Но я прочла! – И погрозила мне маленьким сморщенным кулачком.

– Дина, – сказал я, – все ждут книги от вас!..

– Я так не могу, – ответила она, – это беллетристика! – И пошла садиться на свое почетное место.

После торжественной части мы увиделись у банкетного стола, но не сразу, а перед тем, как ее увезли домой.

– Володя, – сказала Дина усталым языком, – это было ужасно, когда ТЮЗ поздравлял БДТ... нет... когда БДТ поздравлял ТЮЗ, Андрюша Толубеев вынес меня на руках?.. Еще покажут по телевизору!..

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.